

ЮРИЙ

# ПОЛЯКОВ

ГИПСОВЫЙ ТРУБАЧ  
ОДНАЖДЫ В РОССИИ



Собрание сочинений Юрия Полякова

Юрий Поляков

**Гипсовый трубач.  
Однажды в России**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Поляков Ю. М.**

Гипсовый трубач. Однажды в России / Ю. М. Поляков —  
«Издательство АСТ», 2018 — (Собрание сочинений Юрия  
Полякова)

ISBN 978-5-17-119369-0

Знаменитый роман мастера «гротескного реализма» Юрия Полякова «Гипсовый трубач» не имеет аналогов в современной отечественной словесности ни по занимательности, ни по жанровому своеобразие, ни по охвату тем. Эта «ироническая эпопея», как назвали ее критики, соединяет в себе черты детектива, любовной истории, психологического романа, социальной сатиры, а изобилием блестящих вставных новелл напоминает «Декамерон». Как всегда, автор увлекает читателя виртуозно закрученным сюжетом, покоряет яркими и сложными характерами героев, восхищает отточенным ироническим стилем, поражает неожиданными метафорами и афоризмами, волнует утонченной эротикой. В первую книгу дилогии вошли «Насельники куш» и «Игровод и писодей», а также эссе «Как я ваял “Гипсового трубача”», в котором автор раскрывает тайны своей творческой лаборатории, рассказывая о том, как из блеснувшей в сознании «мыслеформы» выросло произведение, ставшее знаковым для русской литературы.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-119369-0

© Поляков Ю. М., 2018

© Издательство АСТ, 2018

## Содержание

Предисловие к пятому изданию	7
Часть первая	8
Глава 1	9
Глава 2	13
Глава 3	18
Глава 4	22
Глава 5	29
Глава 6	34
Глава 7	37
Глава 8	41
Глава 9	46
Глава 10	52
Глава 11	55
Глава 12	61
Глава 13	68
Глава 14	74
Глава 15	79
Глава 16	83
Глава 17	88
Глава 18	94
Глава 19	98
Глава 20	104
Глава 21	108
Конец ознакомительного фрагмента.	109

# **Юрий Поляков**

## **Гипсовый трубач. Однажды в России**

**Ироническая эпопея**

## Предисловие к пятому изданию

Роман «Гипсовый трубач», который вы держите в руках, возможно, есть самое объемистое сочинение русской прозы за последние полвека. Если и не самое, то, во всяком случае, одно из самых. Персонажей в нем больше сотни, не считая героев первого ряда. Я даже поначалу намеревался дать «Трубачу» подзаголовок «ироническая эпопея». Но в итоге дал другой – «свободный роман». Действительно, впервые за сорок лет работы в литературе я не стал стеснять движение фабулы по принципу «чем короче, тем лучше». Я не резал, как строгий садовник секатором, боковые побеги повествования, позволяя залетным сюжетам вить на этих ветвях шумные грачиные гнезда. Речь идет о вставных новеллах, которыми усеян роман. Я не напоминал героям, что такие пространные диалоги годятся скорее для драмы, нежели для прозы. А моих героинь не упрекал в том, что их исповеди, растянувшиеся на несколько глав, были бы уместнее на приеме у психотерапевта с сексуальным уклоном. Я смотрел сквозь пальцы на то, как «сиамские соавторы» Кокотов и Жарынин, сочиняя свой сценарий, начинали путать реальность с творческими фантазиями. Критика меня даже упрекала за то, что я, оторвавшись от жизни, слишком увлекся искусством, а точнее, тем мусором, которого всегда довольно в любой творческой мастерской. Ну что тут возразишь? Сошлюсь, как обычно, на Сен-Жон Перса. Он утверждал: «Искусство по своей природе гораздо ближе к жизни, нежели наука, а уж тем более – политика». Но так или иначе, мои персонажи, или, говоря по-школьному, «художественные образы» совершенно обнаглели и оторвались от первоначального авторского замысла. Впрочем, некоторые знатоки как раз в этом видят первый признак подлинной литературы.

А ведь я даже не собирался сердить критиков. Мне просто хотелось написать роман, который в любой момент под настроение можно снять с полки и читать, а лучше перечитывать, с первой попавшейся страницы, получая удовольствие от слов, играющих, как форель, в солнечном потоке сюжета. Я и сам именно так перечитываю любимые книги. Не знаю, получилось ли это у меня, решать читателям, они в литературе самые главные. Но согласитесь, пятое издание за семь лет – это не так уж и плохо для нашего заполошного времени, когда все устаревает, ломается или выходит из моды с обескураживающей скоростью; когда, чувствуя свежего лауреата какой-нибудь литературной премии, мы уже и не помним, кто получал ее годом раньше; когда переиздание современной прозы стало таким же бессмысленным занятием, как допечатка тиража позавчерашней газеты. А мои любимые герои – Кокотов и Жарынин – все еще продолжают бороться за справедливость, мучительно любить своих женщин и переделывать многострадальный сценарий, который кажется бесконечным, как жизнь, и обрывается так же внезапно, как путь, достигший обрыва. О, не пугайтесь! На самом деле «Гипсовый трубач» – очень веселая книга, в ней много забавных историй и приключений, острых метафор и сатирических выпадов против власть предержащих. Хотя поединок писателя с властью давно превратился в высокотехнологическое фехтование: ты едва коснулся чутким наконечником сатирической рапиры ее стеганого нагрудника, а вот уже взвыл победный сигнал и вспыхнул контрольный свет. И автору приятно, и сильным мира сего хоть бы хны.

А вообще-то, я бы сравнил нашу жизнь с черно-белым кино, где белое – это смех, а черное – слезы. Или наоборот... Сами решите, прочитав мой «свободный роман».

*Юрий Поляков, июнь 2019, Переделкино*

## **Часть первая**

### **Насельники куш**

*И даль свободного романа...*

**А. Пушкин**

*Эй, брось лукавить, Божья Обезьяна!*

**Сен-Жон Перс**

*И призраки требуют тела,*

*И плоти причастны слова...*

**О. Мандельштам**

## Глава 1

### Первый звонок судьбы

История эта началась утром, когда жизнь еще имеет хоть какой-то смысл.

Ранний телефонный звонок настиг Андрея Львовича Кокотова в належанной теплой постели. Он недавно проснулся и теперь полусонно размышлял о том, что разумные существа есть, вероятно, не что иное, как смертоносные вирусы, вроде СПИДа, которыми одна галактика в момент астрального соития заражает другую. После вчерашнего посещения поликлиники и одинокого вечернего пьянства он был невесел, мрачна была и его космогоническая полудрема.

Будучи по профессии литератором, Кокотов вяло прикинул, можно ли из этой странно-утренней мысли вырастить какой-нибудь рассказ или повестушку, понял, что нельзя, – и погрустнел. А тут еще это внезапное телефонное беспокойство как-то нехорошо вспугнуло сердце, и оно забилося вдруг с торопливыми и опасными препинаниями. Встревоженный писатель с обидой подумал, что зря вчера не заглянул к кардиологу: сорок семь – самый опасный мужской возраст, когда желания еще молоды, а исполнительная плоть уже не очень.

Телефон все звонил. Андрей Львович встал и, чувствуя во рту сухую несвежесть, побрел на кухню.

Впрочем, «звонил» – чересчур громко сказано. Все предразводные месяцы Кокотов и его бывшая супруга Вероника использовали аппарат так же, как старорежимные мужики – шапки, а именно: швыряли оземь в качестве последнего и неопровержимого доказательства своей правоты в семейном конфликте, которому давно стало тесно в двуспальной кровати. И если раньше после ослепительной ссоры Андрей Львович обычно закипал вожделением и желал задушить жену в объятиях, то в последний год их близлежащего сосуществования он хотел ее просто придушить. И однажды целую бессонную ночь посвятил рассуждениям (конечно, чисто умозрительным) о том, куда потом можно было бы окончательно спрятать труп, чтобы не сесть в тюрьму. Перебрав вариантов двадцать, жестоких и небезукоризненных, он наконец додумался: надо купить в магазине «Ребята и зверята» аквариум со стаей пираний, очень модных в последнее время среди серьезной публики. И, как говорится, концы – в воду! Однако чешуйчатые людоедки, оказалось, стоили огромных денег! Тогда Андрей Львович, человек небогатый, замыслил написать про это рассказ, но не решился – из суеверия.

Начался же семейный распад с того, что у Кокотова появилось болезненное ощущение, будто в их спальне поселился кто-то третий, невидимый. И Вероника, прежде отличавшаяся веселой постельной акробатичностью, с некоторых пор превратила требовательно-изобретательный интим в редкие и показательно равнодушные супружеские телодвижения, словно доказывая этому неведомому третьему свою полнейшую незаинтересованность в брачных соединениях. А на мужа она стала посматривать с некой иронической сравнительностью. Так пляжная дама, проводив влажным взглядом загорелого атлета, с тоской возвращается взглядом к своему законному животноносцу, приканчивающему восьмую бутылку пива...

– Коко, – объявила Вероника однажды утром за кофе, – я должна тебе сообщить одну важную вещь!

– Какую, Никó?

– Мы разводимся!

– Почему? – спросил Андрей Львович не из любопытства (он давно этого ждал), а скорее из чисто писательской привычки выстраивать диалог.

– Потому что ошибки надо когда-нибудь исправлять...

Развели их без осложнений: потомства они не завели (дети, как и пирании, стоили дорого), а на жилплощадь, книги и совместно нажитое имущество (если честно, смехотворное) Вероника не покушалась. Эта бессребренная странность разъяснилась, когда они вышли из загса

и бывшая жена, точно разнузданная кобылица, потряхивая мелированной гривой, поскакала к белому глазастому «Мерседесу». На миг она обернулась, показала брошенному мужу длинный малиновый язык и, победно хлопнув дверцей, скрылась за непроглядными стеклами, исчезла во тьме новой светлой жизни.

А телефон все звонил...

На кухне царило то неприглядное бытовое разложение, какое часто встречается в домах безнадежных холостяков. На тарелке усыхала грубо расчлененная и недоеденная селедка, посыпанная одряхлевшими кольцами фиолетового лука. Чуть выгнулся, почерствав за ночь, забытый кусок черного хлеба. В бутылке еще оставалось довольно водки, что свидетельствовало о мужском одиночестве, пока еще не перешедшем в неутолимое пьянство. Аппарат фирмы «Тесла» был обмотан разноцветным скотчем и напоминал античную вазу, кропотливо собранную из кусочков. Он даже не звонил, а жалобно верещал из-под кухонной табуретки, словно принесенный с улицы мусорный котенок. Вечор Кокотов хотел от тоски и для познания жизни позвонить какой-нибудь телефонной возбудительнице, даже отчеркнул в рекламной газетке номер горячей линии «Ротики эротики». Но так и не собрался с духом. А зря! Дело в том, что у него появился любопытный сюжетец для нового романа из серии «Лабиринты страсти».

Сюжет такой. Он и она. Ромео и Джульетта. Роман и Юля. Сослуживцы. Работают в глянцево-порножурнале «Афродозиак». И вот между ними по тайным законам влечения возникает чистое, светлое чувство – такое лишь иногда, очень редко, проникает в нашу жизнь, словно луч солнца в канализационный люк. Роман – фотограф: снимает «обнаженку». Юля – редактор: сочиняет письма, которые якобы приходят в «Афродозиак» от читателей, переживших острое сексуальное приключение.

Ну вот, например:

*«Дорогая редакция! Это случилось в Италии, во время экскурсии к жерлу вулкана Санта-Лючия. Вся наша группа уже насладились красотами kloкочущей преисподней и спускалась вниз. А мне – не знаю почему – захотелось остаться наверху и смотреть-смотреть вниз на inferнальные всполохи магмы. Вдруг я с ужасом и негодованием почувствовала, как чья-то требовательная конечность нырнула ко мне под юбку и нагло пытается проникнуть в мой собственный кратер, защищенный только ажурными стрингами, купленными перед отпуском в магазине “Дикая облепиха”. Я обернулась, чтобы отхлестать наглеца по лицу, но моя рука застыла в воздухе: это был Николай – самый юный, скромный и симпатичный член нашей тургруппы. Он смотрел на меня так робко, так нежно, так влюбленно...»*

Тут Юля отрывается от компьютера и вспоминает, с каким ласковым сочувствием Рома смотрел на нее во время недавней планерки, когда пузатый шеф-редактор орал, предынсультично перекосив металлокерамический рот: «Запомните раз и навсегда: мы пиарим только “Мир беля”! У нас договор! Если я еще раз увижу в вашем тексте, Юлия Викторовна, хоть намек на “Дикую облепиху”, я вас уволю. Понятно?»

А Рома? Что Рома?! Он, сердешный, тщательно выставляет свет, чтобы поразвратнее запечатлеть свежесвыбритую фотошлюху, а сам тем временем томительно думает о том, как странно глянула на него Юля, проходя вчера по редакционному коридору...

– Попку чуть на меня! – командует он. – Нет, так много... Это уже не попка! – А сам изнывает от желания просто видеть Юлю, говорить с ней, смотреть в эти чистые голубые глаза...

Кстати, с невинными деликатностями зарождающегося чувства у Андрея Львовича было все в порядке. Он понимал и умел тонко описать, как внезапно рождается, расцветает и опадает лепестками разочарования внезапная симпатия к грустной пассажирке автобуса. А вот знаний о развратной стороне жизни ему, семейному до недавних пор мужчине, явно не хватало, что

по-человечески, может быть, и хорошо, но с писательской точки зрения непроизводительно: ведь именно романами о «странностях любви» Кокотов зарабатывал себе на жизнь в самые трудные годы. Со звонка в «Ротики эротики» он полагал начать серьезное изучение сексуальных пределов гнусной действительности, но в самый последний момент, набрав шесть цифр, смалодушничал, передумал и, злясь на себя, сунул «Теслу» под табурет. Там он ее, без умолку верещащую, и обнаружил. Нагнулся и, чувствуя прилив крови к вискам, снял трубку.

– Я бы хотел побеседовать с господином Кокотовым! – потребовал густой мужской голос.

– Кокотовым, – привычно поправил Андрей Львович, ибо почти никто и никогда не произносил его довольно редкую фамилию правильно с первого раза. (Из трех вариантов ударения все почему-то выбирали именно тот, который придавал фамилии легкомысленный, даже блудливый оттенок.)

– В таком случае мне нужен господин Кокотов! – заявил голос с раздражением.

– А кто его спрашивает?

– Жарынин.

– Кто-о?

– Кинорежиссер Жарынин. Слыхали?

– Слышал, – полусоврал Кокотов. – Простите, имя-отчество только вот запомнил...

– Дмитрием Антоновичем с утра был!

– Я вас слушаю, Дмитрий Антонович!

– А до этого вы меня, Андрей Львович, выходите, не слушали?

– Я неточно выразился. Очень рад вас слышать. Давний поклонник вашего таланта! – зачем-то подлизнулся Кокотов, мучительно соображая, почему фамилия режиссера показалась знакомой, если ни одного его фильма он вспомнить никак не мог.

– Будет врать-то! А вот я в самом деле прочел ваш рассказ в журнале «Железный век».

– Какой рассказ?

– А вы много рассказов напечатали в этом журнале?

– Один...

– Тогда не задавайте глупых вопросов! Я прочел рассказ про гипсового трубача.

– Вам понравилось?

– Кое-что есть, хотя в целом рассказ написан слабо.

– Вы считаете? – обидчиво улыбнулся Андрей Львович.

– Считаю.

– Зачем же вы мне звоните?

– Потому что по вашему сюжету я сниму хорошее кино!

– Мне трудно об этом судить...

– Почему?

– Потому что, Дмитрий Антонович, я не видел ни одной вашей картины! – поквитался Кокотов.

– Вы и не могли видеть. Вгиковская короткометражка «Толпа» не в счет. А единственный мой фильм «Двое в плавнях» смыли по решению Политбюро!

– Как смыли?

– Категорически! В знак протеста я ушел из кино! Но хлопнув дверью... Очень громко!

– Ах, ну да... – Кокотов вспомнил этот действительно шумный скандал застойного кинематографа. – А теперь, значит, вы вернулись?

– Да, побыл, как бы это выразиться, во внутренней эмиграции... Надоело. Хватит!

– А во внешней эмиграции не были?

– Ну, как же... Чуть не выбрал свободу. Но русскому человеку там делать нечего. Однако же странно...

– Что?

– Странно, что вы расспрашиваете меня о всякой ерунде вместо того, чтобы прыгать от счастья. Вам звонит режиссер и хочет экранизировать ваш рассказ!

– Я прыгаю. Вы просто не видите. А деньги на картину у вас есть?

– Разумеется. В противном случае я бы вас не тревожил. Еще вопросы?

– Нет.

– Тогда запоминайте: завтра в девять ноль-ноль я заезжаю за вами, и мы отправляемся в «Ипокренино» – писать сценарий.

– В «Ипокренино»? – переспросил писатель, много слышавший об этом историческом месте, но ни разу там не бывавший.

– Да. Я заказал две комнаты с пансионом.

– Я не могу.

– Почему?! – возмутился Жарынин.

– У меня анализ. Очень важный...

– Какой еще к чертям анализ! А вы не можете эти ваши... ингредиенты сдать сегодня... впрок?

– Нет, это очень сложный анализ. По знакомству. А «ингредиенты», как вы выразились, тут абсолютно ни при чем! – с вызовом ответил Андрей Львович.

Некоторое время из трубки доносились лишь недовольное побряхтывание и посапывание. Наверное, именно так ругались наши бессловесные предки, еще не знавшие роскоши многофункциональной брани.

«Чтоб они пропали, эти анализы! Ну зачем я поперся в поликлинику? Жил бы с этой чертовой бородавкой и дальше! – в отчаянии думал Кокотов, которому впервые в жизни звонил режиссер, да еще с таким предложением. – Пошлет он меня сейчас и правильно сделает!»

– Хорошо, – наконец согласился Жарынин. – Когда вам надо в Москву?

– Через три дня...

– Я сам отвезу вас и сдам на анализы! А потом доставлю назад в «Ипокренино». Договорились?

– А сколько я должен за путевку? – не успев обрадоваться, с боязливой щепетильностью полюбопытствовал Андрей Львович.

– Нисколько. Фирма платит. Да или нет?!

– Да. Я согласен.

– Неужели?! У вас тяжелый характер. Но я с вами поработаю. До завтра. Ровно в девять. На Ярославке, напротив вашего дома, возле ларька.

– В девять, возле ларька, – повторил Кокотов, чтобы лучше запомнить.

– И не опаздывайте! Там остановка запрещена.

– Откуда вы знаете, что запрещена? – подозрительно спросил писатель.

– Прежде чем сделать вам такое предложение, я собрал о вас материал.

– Вы за мной следили?

– Наблюдал.

– Ну, знаете... В таком случае...

Однако Жарынин уже повесил трубку. Кокотов, слушая гудки, подумал о том, что судьба непредсказуема, как домохозяйка за рулем, и решил: никуда не поеду!..

## Глава 2

### Проклятье Псевдонима

На следующее утро Андрей Львович ровно в девять стоял возле пыльного ларька, торговавшего несъедобным изобилием. Двухкомнатную квартиру вблизи шумного, загазованного Ярославского шоссе он получил в прежние времена от могучего в ту пору Союза писателей. Кокотов значился в списках очередников на улучшение жилищных условий, так как занимал с мамой Светланой Егоровной тесную хрущевскую «однушку» в Свиблове. Отсюда, собственно, и возник его первый литературный псевдоним – Свиблов, под которым он печатал первые сочинения, не снискав ни славы, ни даже какой-нибудь чуть заметной известности. Потом у него, правда, появился еще один псевдоним, так сказать, коммерческий... Но это отдельная история.

Размышляя о своей стойкой безуспешности, Кокотов перебрал множество разнообразных причин и выделил две самые вероятные: первая – неверно выбранный псевдоним, вторая – отсутствие таланта. Вторую он отметил сразу: мало ли кругом знаменитых графоманов? Да и кто из пишущих признает себя бездарностью? В определенном смысле творческий работник похож на уродливую женщину, которая все равно в глубине души убеждена: в ней есть что-то чертовски милое – просто пока никто не заметил. Кстати, именно на этой тайной дамской уверенности основана многовековая и очень доходная деятельность брачных аферистов.

Значит, оставалась единственная причина: псевдоним Свиблов, таивший в себе что-то губительное. И Кокотов решил обмануть неприветливую литературную судьбу – рассказ «Гипсовый трубач» он опубликовал под своей родовой фамилией. Главный редактор «Железного века» Федька Мреев, трезвевший только тогда, когда жрал антибиотики после очередной болезнетворной половой выходки, убеждал этого не делать. В тот день он как раз и был угнетающе трезв, ибо умудрился в пьяном угаре завести получасовой роман с привокзальной особью. Последствия оказались самыми тяжелыми, в чем Мреев винил, разумеется, не себя, а тезку, Федора Достоевского, который своей Лизаветой Смердящей сбил с толку немало вполне приличных самцов интеллигентной ориентации...

– Не вздумай, Львович! – предупредил Мреев. – Фамилия у писателя может быть любая, но только не смешная! Ко-ко-тов... – Он через силу улыбнулся. – Не вздумай!

Но Львович вздумал! И вот пожалуйста, он стоит на улице с чемоданом и ждет режиссера, чтобы ехать в «Ипокренино» – сочинять сценарий! А Федька лежит в клинике с гепатитом, передающимся, оказывается, не только алкогольным, но еще и половым путем! На днях Кокотов навестил своего друга-издателя, пожелтевшего, как древний пергамент. Однако больной был настроен не мрачно, а скорее философически:

– Знаешь, я вот лежу и думаю... Насколько же все-таки водка безопаснее секса! Ты подумай, Львович, сколько еще можно было выпить до заслуженного алкогольного гепатита! А тут раз – и квас... Нет справедливости на свете!

«Есть, есть справедливость! – удовлетворенно думал Кокотов, вглядываясь в проезжавшие мимо автомобили. – Мало, очень мало, но есть!»

О том, что судьба к нему если не жестока, то уж точно неласкова, наш герой стал задумываться давно. Ну взять хотя бы ту же квартиру... Он как член творческого союза по советским законам имел право на дополнительные двадцать метров. Сочинять первые книжки ему приходилось на крохотной кухоньке, где закипевший чайник можно было снять с плиты, не вставая из-за стола.

Светлана Егоровна давным-давно, когда сын был еще бессознательно мал, отдала своего неверного мужа Леву в хорошие, как она однажды выразилась, руки, из которых тот уже не вырвался. Поначалу, правда, он тайно звонил и плакал в трубку, жалуясь на грубости новой

жены, звал на помощь бывшую супругу, умолял поднести к мембране ребеночка, дабы услышать единокровное «уа!». Но звонки становились все реже, а потом отец окончательно исчез в толще прошлого. Лет десять по почте еще приходили алименты, такие крошечные, словно вычитались они из жалованья лилипута, зарабатывающего перетаскиванием крупногабаритных грузов.

О том, что Лева умер, Светлана Егоровна узнала, когда позвонила его вдова и спросила, не хочет ли первая жена внести лепту в соиздание могильной плиты усопшему.

Мать так изумилась просьбе, что денег дала. Их повез по указанному адресу Андрей Львович, в ту пору подросток, и попал прямо на сороковины. Дверь открыла толстая женщина в старом халате. Одутловатым лицом, прической и усами она чрезвычайно напоминала пожилого Бальзака, замученного непомерным употреблением кофе и Эвелины Ганской. В замусоренную переднюю из кухни доносилась пьяная разноголосица, мало похожая на поминовение усопшего, чья душа в этот день должна окончательно отлететь от своих земных заморочек.

– Ты кто? – спросила Бальзаковна.

– Я сын Льва Ивановича.

– Что-то не похож...

– Я на маму похож.

– Ну разве что! Принес?

– Принес, – он протянул конверт.

Бальзаковна схватила деньги и сунула за пазуху, потом степенно спросила:

– Отца помянешь?

– В каком смысле?

– Выпьешь?

– Детям нельзя...

– Молодец! Не пей! – всхлипнула она и прижала мальчика к своей мягкой груди, пахнувшей какой-то острой закуской.

Спускаясь по лестнице, малолетний Кокотов услышал восторженный вопль: вероятно, в этот миг собутыльники узнали, что теперь могут гулять, не нуждаясь в средствах, до естественного изнеможения организма. Вернувшись домой, Андрей рассказал об увиденном матери. Та сначала возмутилась, но потом расстроилась и даже всплакнула. Видимо, пропащий Лева все-таки оставил в ее женском существе особенный, незаживающий след.

Впрочем, внешне одинокая судьба Светланы Егоровны сложилась вполне оптимистично. Разойдясь с мужем, она служила в Бюро рационализаторских предложений, вела бодрую насыщенную жизнь активной общественницы и по совокупности заслуг получила однокомнатную квартирку в Свиблове, покинув наконец семейное заводское общежитие, где вечерами одно временно вскипали две дюжины чайников, а коллективная субботняя стирка рождала в извилистых коридорах непроглядные, почти колдовские туманы, пахшие хозяйственным мылом. Личные радости у нее, наверное, тоже случались – на отдыхе в ведомственном санатории, откуда она всегда возвращалась оживленная, даже взвинченная. Светлана Егоровна чаще, чем обычно, задерживалась у зеркала, будто хотела увидеть себя глазами того обаятельного язвенника, который после санаторного разгула и послепроцедурных любовных безумств вернулся в свой скучный Сыктывкар – к семье. Именно оттуда несколько лет приходили поздравительные открытки к Восьмому марта, подписанные неведомым «Э».

Потом один тощий рационализатор настойчиво таскал ей на дом проект чудодейственной автоматической помывки стеклотары на конвейере и очень удивлялся, что Андрей сиднем читает дома книжки, вместо того чтобы носиться с друзьями на уличной воле. Светлана Егоровна, по-ахматовски кутаясь в облезший оренбургский плат, в ответ лишь гордо усмехалась, мол, вот такой у меня необыкновенный сын! Очевидно, она принадлежала к тому типу жен-

щин, для которых мужчина – желанный, но совсем не обязательный компонент жизнедеятельности.

Зато когда Кокотов подросток и озаботился женской телесностью, мать старалась создавать ему всяческие условия: уходила в консерваторию или уезжала на дачу к знакомым. При этом Светлана Егоровна относилась к его подружкам, сначала одноклассницам, а потом и однокурсницам, с доброжелательным небрежением, надеясь, вероятно, что эту манеру переймет у нее и сын. Впрочем, изредка она делала серьезное лицо, напоминая ему о том, что если с девушкой приключится что-то чреватое, он должен повести себя как настоящий мужчина: в серванте на такой случай лежала наготове зеленая полусотенная купюра (немалые по тем временам деньги!), а рядом – бумажка с телефоном знакомого гинеколога, принимавшего на дому. Бесплатно в госмедучреждениях это осуществляли очень больно, обидно и неаккуратно. В общем, Светлана Егоровна делала все для того, чтобы уступить сына другой женщине как можно позже, и делала это легко, изобретательно, с улыбочивой жестокостью.

Пятидесятирублевка, кстати, так и не пригодилась. От природы Кокотов не обладал тем веселым даром обольщения, который кто-то назвал «нижним подходом к женщине». При такой методе дама может сколько угодно твердить «нет, нет, нет», но очень скоро, незаметно для себя, отвечает «нет» уже на нежный вопрос: «А вот так тебе, кисонька, не больно?» Что же касается «верхнего подхода», когда слияние душ намного опережает слияние сперматозоида и яйцеклетки, то на него у Андрея Львовича просто не оставалось душевных сил. Он тратил себя на другое, им овладела иная, высокая страсть, почти болезнь – посильнее плотской. Имя этого недуга – сочинительство.

Почти все свободное время он проводил за пишущей машинкой. Впрочем, «машинкой» этот агрегат под названием «Десна», списанный из-за устаревшей громоздкости и привезенный Светланой Егоровной со службы, назвать было трудно. Он предназначался для печатания широкоформатных финансовых отчетов. Метровая каретка, совершив отпущенное ей движение вправо, возвращалась на место с такой стенобитной мощью, что маленькая квартирka Кокотовых вздрагивала всем своим гипсоасбестовым существом, а мозеровские рюмки, подаренные когда-то матери на свадьбу, мелко дребезжали в серванте.

Печатал будущий писатель на обратной, чистой стороне каких-то министерских инструкций, огорчался и рвал странички не оттого, что понимал всю невозможность изречь невыразимое, а из-за досадных опечаток. Особенно часто у него вместо «И» выскакивало «Т», а вместо «А» – «В». Когда количество перебивок на странице становилось критическим, нервы начинающего литератора сдавали, и он, зверски выдрав лист из каретки, в бешенстве рвал его на такие мелкие кусочки, что могли бы позавидовать конструкторы самых современных бумагоуничтожителей. Переживавшая за сына Светлана Егоровна достала где-то по знакомству несколько флакончиков чудодейственной импортной замазки – и творческий процесс налачился.

Готовые сочинения (сначала – стихи, потом – прозу) Андрей радостно нес на обсуждение в литобъединение «Исток», откуда возвращался с таким видом, словно его несколько часов методично хлестали по щекам, а в довершение еще и плюнули в лицо. После этого Кокотов впадал в депрессию, пил седуксен, который матери выписали от климактерических неврозов и который считался тогда универсальным средством для примирения с действительностью. Но депрессия оканчивалась приливом вдохновения, снова стенобитная каретка сотрясала квартиру, и снова Кокотов тащил очередную рукопись в литобъединение «Исток». Там его снова били по щекам, но в лицо уже не плевали – то ли забывали, то ли не считали нужным, учтя творческий рост молодого автора. Вот радость!

В общем, Кокотову было не до зеленой купюры. А потом, к ужасу Светланы Егоровны, он женился на первой же забеременевшей от него однокурснице, соблазненной во время летней педагогической практики в пионерском лагере «Березка». Звали избранницу Лена Обиход. Но брак был недолгим, вскоре сын вернулся к матери, а спустя пять лет преподнес ей свою

первую книжку, повесть «Бойкот» – про школьников, взбунтовавшихся против учителя: тот, не чуя ветра перемен, мешал развитию самоуправления в классе. Глупость, конечно! Самоуправление в школе такая же нелепость, как демократия на операционном столе. Но такое тогда было время – 1986 год, перестройка! Свобода уже проникла в Отечество, однако вела себя еще довольно скромно, точно опытный домовник: осторожно, бесшумно она обходила ночное жилище, примечая, где что лежит, прикидывая, что брать в первую очередь, а что во вторую, и нежно поигрывала ножом-«выкидушкой» – на случай, если проснутся хозяева...

Увидев фотографию сына на обложке, Светлана Егоровна расплакалась, стала целовать странички и даже испачкала губы свежей типографской краской. Потом повесть похвалил в отчетном докладе тогдашний главный литературный начальник Георгий Мокеевич Марков, человек неглупый и, что самое удивительное, внимательно читавший своих собратьев по перу, даже начинающих. Кокотова всем на зависть быстро, без проволочек приняли в Союз писателей.

Глядя тисненное золотом писательское удостоверение, выданное сыну, мать снова расплакалась (позже Кокотов прочел в журнале «Здрав-инфо», что чрезмерная слезливость – признак надвигающегося инсульта) и в воскресенье повезла сына на кладбище к своим рано умершим родителям. «Вот, смотрите! – гордо объявила она. – Ваш внук – настоящий писатель!» Из впечатанных в рябой гранит овальных рамок напряженно глядели фотографические останки людей, когда-то живших, работавших, любивших, рожавших. Казалось, они изнурительно думают о том, почему бесконечная жизнь может вдруг вот так взять и пропасть между двумя датами, выбитыми на камне. Кто же знал тогда, что всего через несколько лет на памятнике появится еще один портретный овал, и Светлана Егоровна, обретя блаженство там, под землей, или на небе (Кокотов это для себя еще не решил), вдоволь наговорится со своими родителями об Андрюшиных блестящих успехах.

Получив членский билет, молодой литератор тут же встал в очередь на улучшение жилищных условий. Собственно, для того многие и рвались в Союз писателей. Новую площадь ему обещали, но не скоро. Однако через год случилось чудо: поэт-полуклассик (точнее сказать, классик-полупоэт), оказавшийся после четвертого развода без крова, осмотрел и гневно отверг двухкомнатную квартирешку в панельном доме, да еще рядом с гремучим Ярославским шоссе.

– Вы понимаете, с кем говорите?! – кипел он. – Мою песню «В страну ворвался ветер перемен!» поет вся страна и даже генсек Горбачев!

Предыдущую квартиру он получил на проспекте Мира, убедив жилищную комиссию в том, что его песню «Кружатся чайки над Малой землей...» любит петь в застолье сам генсек Брежнев, хотя к тому времени Сам не то что петь, а говорить-то уже не мог, напоминая человека, который из угрюмого озорства решил умереть не в больнице или дома, а прямо на трибуне. В общем, классику-полупоэту подыскали что-то соответствовавшее его статусу, а ордер на «двушку», видимо, учитывая душевное расположение литературного начальства, предложили Кокотову. Посоветовавшись с мамой, он радостно согласился, хотя мог, между прочим, в случае срочной женитьбы, даже фиктивной, рассчитывать и на трехкомнатную квартиру. Но, как говорится, лучше ордер в руках, чем слава в веках.

Они въехали в новый дом – и у каждого появилась теперь отдельная комната, однако Андрей Львович, повинувшись многолетнему рефлексу, выработавшемуся в начальный период творчества, продолжал сочинять исключительно на кухне, среди кастрюль. И это еще ничего: один песенный лирик, который попал в ГУЛАГ как троцкист за групповое изнасилование комсомолки, поддерживавшей сталинскую платформу, выйдя на свободу, построил в своем кабинете настоящие нары и установил действующую «парашу». Только так он мог возбудить в себе трепет стихоносного вдохновения. Его, кстати, часто показывают теперь по телевизору: во-первых, как феномен творческого чудачества, а во-вторых, как напоминание о тоталитарном беззаконии.

Но мать с сыном не успели порадоваться новой жилплощади. Случилось страшное: Союзу писателей вне плана выделили целый подъезд в изумительном кирпичном доме рядом с лесопарковыми Сокольниками. Вероятно, советская власть, зашатавшаяся под ударами перестроечных нетерпеливцев и американских спецслужб, рассчитывала задобрить писателей и опереться на них в годину надвигавшейся смуты. Намерение, надо признать, странное, еще нелепее, чем попытки уставших от разврата гусар искать себе верных жен в гарнизонных борделях. Тем не менее ордера на роскошные трехкомнатные квартиры давали всем очередникам, бездетным и даже безочередным литераторам, чей талант отличался общественной стервозностью. Узнав это, Кокотов внутренне заплакал от коварства судьбы, а потом мнительно решил, будто «двушку» на Ярославке ему подсунули специально, чтобы устранить претендента на лесопарковые Сокольники.

В результате он так обиделся на Советскую власть, что в августе девяносто первого сломя голову помчался защищать Белый дом от путчистов, чтобы поддержать Ельцина, и без того умевшего постоять за себя на танке. Кокотов даже плакал от счастья, когда объявили победу демократии. Память об этих слезах теперь спрятана в самом потаенном кармашке души, вместе с другими глупыми и стыдными событиями его жизни, вроде кражи николаевского пятака у одноклассника-нумизмата, малодушного бегства из семьи Обиходов или позорного изгнания из Фонда Сэроса...

В октябре девяносто третьего Кокотов снова хотел поехать к Белому дому, теперь чтобы оберегать народных избранников от озверевшего законно избранного, но у писателя не оказалось денег даже на метро...

## Глава 3

### Язык Вероники

Андрей Львович посмотрел на часы: было двадцать минут десятого. Он огляделся. У ларька стояли два глянцевого негра, похожих на пару начищенных дембельских сапог, – видимо, студенты строительного института. Прошла мимо нарядная дама со сломанной рукой на перевязи: из белого гипса торчали пальчики с ярко-красным маникюром. Режиссер Жарынин не появлялся. Заволновавшись, Кокотов стал вспоминать, все ли электроприборы выключил, уходя из дому, и точно ли перекрыл газовый вентиль. Раньше за это отвечала Вероника. Она в годы вятского детства пережила пожар, случившийся из-за оставленного утюга, и с тех пор маниакально боялась бытовых возгораний. Теперь за всем Андрею Львовичу приходилось следить самому. Лишь после развода он осознал, сколько в их совместной жизни делалось женой, причем совершенно незаметно. Кокотов ощущал себя хирургом, который привык, негромко сказав: «Скальпель!» – тут же получать от ассистентки блестящий остренький инструмент. «Зажим!» – и зажим в руке. Теперь же в ответ на команду «Скальпель!» – ничего, тишина... Автор «Бойкота» с недоумением понял, что холодильник сам по себе не наполняется продуктами, а рубашки, брошенные в корзину, не обнаруживаются вскоре в гардеробе на плечиках – чистые, отглаженные, ароматные. И что уж там говорить о брачном ложе, внезапно превратившемся в необитаемый остров!

Первое время, выйдя из подъезда, Кокотов сразу забывал и не мог уже сказать наверняка: вырублены ли огнеопасные точки и заперта ли входная дверь? То есть он был почти уверен в том, что сделал это, но стоило лишь задуматься – и крошечное «почти» окутывалось клубами дыма, взрывалось сиренами пожарных машин и обдавало ужасом нищего существования на пепелище. Поначалу Андрей Львович бегом возвращался с полпути, чтобы перепроверить, и, разумеется, все было выключено. Однако на другой день наваждение в точности повторялось, а тот факт, что в прошлый раз обошлось, служил не для успокоения, а напротив, для мнительной уверенности в том, что уж сегодня-то обязательно случится жуткая огнепальная катастрофа. Измучившись, бедный писатель придумал-таки надежный способ: перекрывая газ и запирая входную дверь, он щипал себя за руку между большим и указательным пальцами так больно, чтобы оставался след от щипка.

Кокотов успокоительно глянул на красное пятнышко на коже, осторожно снял с уставшего плеча футляр с новеньким ноутбуком и поставил на чемодан. От старого, испытанного «Рейнметалла», сменившего стенобитную «Десну», он отказался совсем недавно и пока еще питал к компьютеру осторожно- уважительные чувства.

Жарынин все не появлялся. Мимо прошла ногастая девица в неуместно короткой для начала осени юбочке. Видно, ей очень хотелось похвастать своими шоколадно-загорелыми конечностями, привезенными недавно с юга и бог знает куда там взбравшимися. Кокотов посмотрел ей вслед с обреченным вождением сорокашестилетнего, небогатого и не очень хорошо сохранившегося мужчины. Вероника, бывало, перехватив подобный его взгляд, понимающе усмехалась, сочувственно похлопывала по переваливающемуся через ремень животу и говорила: «Даже не надейся!»

Он, кстати, и не надеялся, почти привыкнув к своему одиночеству, но в такие мгновения его невообразимая плоть наполнялась вдруг тяжким томлением, как в школе, когда Колька Рашмаджанов приносил и тайком показывал одноклассникам залистанный «Плейбой», стыренный у отца, который работал в Спорткомитете и провозил запретные журналы из загранкомандировок, рискуя партбилетом. А потом ошеломительная женская нагота стояла у Андрея перед глазами и доводила до такого состояния, когда бретелька лифчика, выглянувшая у математички из-под строгого платья, вышибала из головы всю алгебру вместе с геометрией.

Кстати, Вероника при первом знакомстве поразила Кокотова тем, что была неуловимо похожа на одну «плейбоечку», надолго запавшую в подростковую память. Она появилась в его жизни вскоре после смерти Светланы Егоровны, словно нарочно посланная судьбой для того, чтобы сын мог выполнить наказ матери: «Если со мной, Андрюшенька, что-нибудь случится, обязательно женись! Нельзя тебе без женщины...» В бюро детских и юношеских писателей у него была общественная нагрузка – иногда он дежурил в литературной консультации, куда начинающие могли принести и показать свои первые опыты. Вероника была намного моложе Кокотова, училась в Энергетическом институте, жила в студенческом общежитии и писала плохонькие стихи под Цветаеву:

*Сердце, раненое, колотится —  
Извелась.  
Увидала тебя и – колодница  
Синих глаз!*

В Москву она приехала из Кирова, и внешность у нее была совершенно вятская: круглое фарфоровое личико с чуть раскосыми глазами и тонкими чертами. Когда Андрей Львович объяснял начинающей поэтессе недостатки ее стихов, подчеркивая карандашиком сбои ритма и неудачные рифмы, она смотрела на него, как земная пастушка, случайно встретившая в оливковой роще бога, сошедшего на землю по какой-то нечеловеческой надобности. Однако в постели у небожителя пастушка очутилась не сразу, а после полугода упорных ухаживаний, очутилась именно в тот момент, когда мужское умиление редкостной девичьей стойкостью готово было переродиться в ярость от ее холодной неуступчивости.

В первую ночь она сделала все возможное, чтобы убедить будущего супруга: три года, проведенные в студенческом общежитии, никоим образом не отразились на ее женском опыте. А тот единственный предшественник, за которого она собиралась замуж еще в Кирове, понятное дело, разбился в автокатастрофе. Кокотов лишь мудро улыбнулся этому лукавству и поцеловал милую лгунью. Он давно сообразил, что женское тело – это братская могила осуществленных мужских желаний. И если в этой могиле ты лежишь пока еще сверху, это очень даже неплохо!

Проснувшись утром, Вероника оглядела комнату и сказала:

– Неправильно!

– Что неправильно?

– Мебель у тебя стоит неправильно!

Когда подавали заявку в ЗАГС, Вероника вдруг выяснила, что выходит замуж не за серьезного прозаика Свиблова, а за какого-то смешного Кокотова. Подумав, она решила не менять фамилию, оставшись Воробьевой, что, возможно, и предопределило судьбу брака. Свадьбу сыграли по новорусским понятиям весьма скромную, а по писательским – ну просто роскошную. Гостей Кокотов собрал в нижнем буфете Дома литераторов, куда за заслуги перед родной словесностью ему позволили принести с собой спиртное, чтобы вышло подешевле. Экономия и в самом деле случилась немалая. Дело в том, что, убирая под руководством дотошной невесты захламленную квартиру, Андрей Львович неожиданно обнаружил на антресолях две дюжины пыльных бутылок «Пшеничной»: они залежались там со времен горбачевской борьбы с пьянством, погубившей Советский Союз. (Как известно, великую державу сразили две напасти: дефицит алкоголя и переизбыток бездельников, поющих под гитару песенки собственного сочинения.) Оказалось, покойная Светлана Егоровна прятала часть водки, полученной по талонам. Зачем? Впрок, конечно, на всякий случай, чтобы, например, расплатиться с сантехником. Ну и, понятно, чтобы не искушать сына-сочинителя. Из книжек она достоверно

знала: писатели в пору творческого застоя могут запить, и запить так всемирно, что мемуаристы потом только про эти загулы и вспоминают...

В нижнем буфете, закрытом на спецобслуживание, Кокотов собрал с десятков своих литературных знакомцев, к которым не испытывал ненависти. Пришел Федька Мреев, уехавший потом с подругой невесты. Был переводчик Алконосов, который скоро напился и стал всех, включая официантов, обвинять в плагиате. Позвал Андрей Львович и нескольких издательских работников, редактировавших его сочинения без садизма. Со стороны невесты присутствовали родители, приехавшие из Вятки и смотревшие на дочь с недоверчивым восторгом, как на хроническую двоечницу, внезапно принесшую домой аттестат зрелости, набитый пятерками. Стреляли глазками: Ольга – лучшая подруга Вероники и еще несколько однокурсниц. Они заливисто хохотали, стараясь таким образом скрыть зависть к подружке, столь жестоко опередившей их в трудном искусстве мужеловства.

Имелся, конечно, и свадебный генерал – писатель Гелий Захарович Медеянский, создатель бессмертного Змеюрика. Он сидел за столом с тем выражением, какое бывает у солидного отпускника, если вместо обещанного люкса его воткнули в чулан возле сортира. Но потом классик оживился, сначала заинтересовался Ольгой, а потом, выпив, переключился на невесту, за что был шумно бит нервным детским поэтом Яськиным. Он, хотя его не просили, вступился за честь жениха и обеспечил скандал, без которого свадьбу нельзя считать окончательно удавшейся.

Кстати, налегая на водку, чуткий Медеянский сразу определил ее советское происхождение и объявил, что, будучи генетическим либералом, тем не менее ценит застойные напитки и добывает их с большой переплатой со специальной базы МИДа. Этот тайный склад обеспечивает спиртным приемы на высшем уровне и хранит в своих недрах среди прочего аж легендарную царскую мадеру, именно ее так любил Григорий Ефимович Распутин.

Кокотов, одетый в новый темно-серый костюм, старался выглядеть благополучным, состоявшимся, даже состоятельным мужчиной и небрежно раздавал официантам чаевые. А услышав слова Медеянского, он тонко улыбнулся и многозначительно пошутил, что цену старорежимному алкоголю знает, ибо у них с Гелием Захаровичем общий питейный источник вдохновения, а именно – тайные погреба МИДа. И вот тут-то жених поймал на себе особенный, обидный взгляд невесты. Она усмехнулась и показала избраннику язык, точнее, чуть-чуть высунула его из сжатых губ. Так, вроде пустяк... Но если, как говорится, системно взглянуть на ситуацию, следует признать: именно тогда, на свадьбе, и начался распад их брака, закончившийся длинным малиновым языком, показанным ему женой в день развода.

Конечно, надо было с самого начала разъяснить Веронике, что ее ждет не глянец удовольствий, но трудная, полная лишений и самоограничений судьба писательской сподвижницы. Однако вместо этого, обольщая юную поэтессу, забросившую стихи сразу после загса, Андрей Львович рассуждал о скором мировом признании его сочинений и красиво тратил отложенные на черный день сбережения. Да и свадьбу-то, честно говоря, сыграли на остатки гранта, который Фонд Сэроса дал под написание детской приключенческой повести о кровавых злодеяниях советского режима.

А ведь именно на триумф и многоязыкие переводы этой книжки, названной «Поцелуй черного дракона», Андрей Львович очень рассчитывал. Не получилось. Господи, как же орал старый прихлебатель Альбатросов: «Это что – розыгрыш? Мерзавец! Вон отсюда! Ни копейки, ни цента...»

Вдруг Кокотова прошиб пот. Дурак! Идиот! Он стоит и ждет, как лох, совершенно напрасно – никто не приедет. Никто! Более того, никакой Жарынин ему не звонил! Его попросту подло разыграли. Кто? Станный вопрос... Ну конечно же, эта гепатитная сволочь Федька Мреев. Ему запретили пить – вот он теперь и развлекается, чтобы не так к рюмке тянуло. И голос один в один! Иногда, если в редакцию «Железного века» звонил нежелательный автор по

поводу гонорара, Мреев, взяв трубку, отвечал не своим голосом – тяжелым, вальяжным басом, точно таким же, как у этого лжережиссера. Ну надо же так глупо, наивно и дешево попасться!

## Глава 4

### Песьи муки

Сзади раздался оглушительный автомобильный сигнал. Андрей Львович в ужасе оглянулся и увидел, что сияющая иномарка, въехав прямо на тротуар, буквально уперлась бампером в его чемодан. Из машины выскочил загорелый мужчина в куртке из персиковой лайки, в бежевых вельветовых брюках и модных замшевых мокасинах.

– Вот так и гибнут русские классики! – сказал незнакомец голосом Жарынина и, улыбаясь, приложил ладонь к темно-коричневому бархатному берету.

Берет, кстати, выглядел необычно: специальной серебряной бляшечкой сбоку было прикреплено небольшое рыже-полосатое перо.

– Что? – испуганно переспросил автор «Бойкота».

– Ничего, садитесь скорее! Здесь нельзя парковаться. Кидайте вещи! – Он ткнул мокасином в кокотовский чемодан.

Крышка багажника была предусмотрительно откинута. Писатель осторожно поместил вещи в нишу, обтянутую изнутри серым рубчатым велюром, точно сундук для хранения драгоценностей. Там уже покоилась большая и длинная, как обожравшийся удав, адидасовская сумка. Затем через гостеприимно распахнутую перед ним дверцу Андрей Львович забрался на переднее сиденье, тщательно пристегнулся и осторожно устроил ноутбук на коленях. В салоне пахло ночным клубом. Жарынин плюхнулся рядом, повернул ключ зажигания, лихо съехал с тротуара на мостовую, дал газу – и машина ринулась вперед.

Некоторое время мчались молча. Писатель, скосив глаза, обнаружил, что профиль у режиссера хищный и волевой, брови лохматые, а небольшие курчавые бачки тронуты благородной сединой. Почувствовав, что его рассматривают, водитель на мгновение повернулся к пассажиру – и взгляды их встретились. Глаза у Жарынина оказались серо-голубые, почти выцветшие и в то же самое время очень живые, даже возбужденные. Такого сочетания Кокотову до сих пор, кажется, встречать не доводилось.

Тем временем странный водитель летел вперед, резко обходя другие автомобили, порой для этого выскакивая на встречную полосу. Иногда он комментировал очередной свой маневр разными фразами, обидными для прочих участников движения. Особенно Андрею Львовичу запомнились слова, брошенные вдогонку обомчавшему их с космической скоростью джипу:

– Ишь ты, сперматозоид-спринтер!

– «Мерседес»? – спросил робко Кокотов, чтобы как-то завязать разговор, и погладил отделанную деревом крышку «бардачка».

– «Вольво», – ответил режиссер, глядя на дорогу взором профессионального убийцы.

– А откуда, Дмитрий Антонович, вы узнали, где я живу? – он наконец задал вопрос, беспокоивший его со вчерашнего дня.

– Нанял двух отставных гэбэшников – они вас и выследили!

– Нет, я серьезно! – хохотнул писатель.

– А если серьезно – я живу от вас через два квартала. Дом Госснаба знаете?

– Знаю. Хороший дом. Из бежевого кирпича и окнами в парк...

– Точно.

– И давно вы там живете?

– Еще коммунаки квартиру дали.

– Так вы вроде... с коммунистами...

– Я – да! А жена – нет. Она у меня по общепиту.

– Повезло. Только что-то я вас ни разу не встречал здесь, в нашем районе...

– Я часто в отлучках. Иногда подолгу... Потом, я на машине езжу, а вы пешком. Но однажды мы все-таки сталкивались. Помните, на вас собака набросилась?

– Здоровая такая! Черная. Конечно, помню... Она же мне штаны разорвала! – почти радостно подхватил Кокотов.

– Ну вот – это был мой Бэмби. Бедный Бэмби!

– Ничего себе Бэмби. Его-то я помню. Очень, кстати, необычная собака...

– Помесь черного королевского пуделя с ризеншнауцером. Страшное дело: пуделиная дурь, помноженная на ризеншнауцерскую агрессивность!

– Действительно, странный пес! Ни с того ни с сего... А вот вас я совершенно не запомнил! Наверное, от испуга.

– Наверное. Вы никогда не писали про собак?

– Нет, – сознался Кокотов.

– Напрасно. Настоящий писатель обязательно должен сочинить что-нибудь про собак, про детей и про выдавленного раба.

– А вы про собак ничего не снимали?

– Нет, но у меня есть роскошный сюжет для короткометражки. Рассказать?

– Если не жалко...

– Не жалко! – Режиссер поудобнее устроился в водительском кресле. – Вообразите себе, Андрей Львович, такую историю. Некий гражданин, назовем его Василием, выходит, как и вы, вечером во двор своего дома – подышать воздухом. Он только что в хлам рассорился с женой, и все внутренности у него вибрируют от гнева, как у дешевой стиральной машины. Семейная жизнь представляется ему гнуснейшим способом существования, недостойным взрослого человека. Умиrotворяя себя сладостными картинами предстоящего развода и будущего упоительного мужского самоопределения, он прогуливается меж дерев, постепенно приходя в себя.

Но вдруг из темноты с омерзительно визгливым лаем ему под ноги бросается лохматая болонка, похожая на тряпичную швабру, какими моют кафельные полы. От неожиданности Василий страшно пугается, хватается за сердце и с холодной оторопью понимает, что никуда он из семьи не денется, что это, как выразился Сен-Жон Перс, «парное одиночество» у него навсегда, что вот так, до гроба, он и будет брести по жизни, булькая внутренней тоской...

А следом за визжащей собачонкой из темноты вышел хозяин, назовем его Анатолием, и произнес подлейшую по смыслу фразу: «Не бойтесь, товарищ, он не кусается! Тоша, ко мне! Ах ты мой мальчик!»

Пес, презрительно задрав на Василия лапку, сделал свое собачье дело, радостно вернулся к хозяину, и они вместе исчезли в темноте.

Возможно, случись подобный инцидент в какой-то другой день, Василий посмеялся бы над этим кинологическим недоразумением и забыл. Но тут все сошлось. И в предосудительном поведении болонки он ощутил вызов, который бросает ему судьба. Мол, кто ты? Мужчина или деревяшка, которую пилит жена и метит безнаказанно случайный кабыздох? Кроме того, обращение «товарищ» выдавало в подлом собаководстве явного пролетария, приверженца красно-коричневых идей, а Василий, надо заметить, имел высшее техническое образование и голосовал исключительно за Явлинского.

– Но лично мне Явлинский никогда не нравился! – сообщил, прервав рассказ, Жарынин.

– Почему же?

– У него лицо обиженного младшего научного сотрудника, которому в институтской столовой недолили борща...

– Лучше рассказывайте дальше! – попросил Кокотов, сдерживая в сердце ползучую политическую обиду.

– На чем я остановился?

– На судьбе!

– Да, на судьбе, так вот... Соединение всех этих обстоятельств, невинных поодиночке, привело к тому, к чему приводит соединение купленных в супермаркете безобидных по отдельности химических ингредиентов, а именно: к бомбе. Она-то и взорвалась в сердце Василия. Однако бежать в милицию и подавать заявление на неведомого прохожего, чей четвероногий друг обмочил тебе джинсы, – смешно и бессмысленно...

– Это верно, – кивнул Кокотов. – Мой товарищ неделю пытался подать заявление по поводу исчезновения жены. Безрезультатно. Наконец она вернулась, причем без всяких объяснений, после недельного отсутствия. Конечно, мой друг вспылil. И что вы думаете? У нее заявление по поводу абсолютно внутрисемейного синяка под глазом тут же приняли. И моему другу пришлось продавать машину, чтобы прикрыть дело...

– Да... милиция – произвольная организация... – рассеянно согласился Жарынин. – Но вернемся к Василию! Он, в тяжелой задумчивости придя домой, заперся там, где мог побыть в одиночестве, – в туалете. И ему на глаза попала газета «Отдыхай!», ее бесплатно кладут в почтовый ящик, с объявлением:

### НАЙДИ СЕБЕ ДРУГА!

Речь шла о питомнике «Собачья радость», куда свозили бездомных животных и куда хозяева отдавали своих четвероногих друзей в силу разных неожиданных обстоятельств. Любой желающий мог взять себе из питомника понравившуюся зверушку, оплатив лишь съеденные корма. И тогда Василию явился в голову грандиозный план мести. Утром он помчался по указанному адресу и выбрал себе довольно зрелого и чрезвычайно сердитого черного миттельшнауцера по кличке Пират, от которого хозяева отказались из-за злобного нрава, направленного, правда, исключительно на собак меньшего калибра. Слупили, однако ж, с Василия немало. Можно подумать, миттель умял за месяц содержания в питомнике столько же, сколько сожрала бы голодная волчья стая. Но это уже значения не имело.

Жена, не будем ее никак называть, увидев мужа с собакой, устроила ему сцену, переходящую в скандал, а затем – в истерику, но Василий впервые за многие годы брака проявил твердость и переехал вместе с псом на балкон, благо лето в тот год выдалось жаркое. Некоторое время он бесил Пирата специально купленной мягкой игрушкой, похожей на оскорбительную белую болонку. Наконец, мобилизовав в миттеле все омерзительные собачьи качества, он повел озверевшего Пирата в то самое место, где недавно подвергся нападению маленькой лохматой сволочи, и стал ждать, страдая от мысли, что оскорбители забрели сюда случайно и обычно гуляют совсем в других пределах.

Но вот из темноты, звонко лая, выскочил Тоша. Василий с кроткой улыбкой спустил Пирата с поводка. Злобное рычание, жалобный визг, и сцепившиеся собаки стали похожи на бело-черный клубок, напоминающий чем-то эсхатологическую схватку света и тьмы. Подоспевший на шум Анатолий с трудом вырвал из зубов миттеля то, что осталось от Тоши. А осталось, поверьте, немного. Я бы даже сказал, чуть-чуть...

«Странно, товарищ, – молвил Василий, не ожидавший такого летального результата. – Раньше он у меня не кусался!» – А сам, злодей, потихоньку дал Пирату сахарок, пристегнул поводок и удалился.

Анатолий несколько дней выхаживал умирающий фрагмент своего друга и, обливаясь слезами, схоронил его ночью в дворовой клумбе, под табличкой «Не ходить!». А на девятый день тоже отправился в питомник «Собачья радость» – ему в ящик сунули ту же самую газету, – чтобы отыскать себе новую болонку, максимально похожую на усопшего Тошу.

– А вот знаете, Андрей Львович, о чем я сейчас подумал? – мечтательно спросил Жарынин, совершая опасный обгон фуры.

– О чем?

– Если бы род людской подразделялся на породы, как собаки, семейно-брачные отношения были бы гораздо гармоничнее...

– Вы полагаете? – На губах Кокотова мелькнула усмешка, отравленная ядом недавнего развода.

– Конечно же! Вот, допустим, вам нравятся женщины-колли, вы женились по страстному влечению, но не сошлись характерами. Ерунда! Вместо мучительных поисков просто берете себе новую колли, с такой же остренькой лукавой мордочкой, с такой же рыжей длинной шерстью – только с другим характером.

– А если мне нравятся дворняжки?

– Дворняжки? Об этом я как-то не подумал...

– Лучше рассказывайте дальше!

– Значит, вам нравятся дворняжки? Учтем! Ну так вот... Анатолий поехал в питомник за болонкой, но вернулся со злобным ризеншнауцером по кличке Фюрер, который, по словам хозяина «Собачьей радости», люто ненавидел всех миттелей, вероятно, подозревая в них вырожденческую, неполноценную ветвь своей благородной породы. Привезя пса, мститель тем же вечером устроил засаду и, как только появился Василий со своим Пиратом, спустил Фюрера с поводка. Громкий лай, страшное рычание, жуткий визг... Надо ли объяснять, что в кровавой схватке миттель получил увечья, несовместимые даже с его собачьей жизнью.

«Ну нельзя же так себя вести, малыш!» – нежно попенял Анатолий, поощрительно почесывая за ухом победителя, злобно дрожащего от песьей гордости.

Василий же, предав земле Пирата, на следующий день снова помчался в питомник. Едва войдя, он тут же бросился к зарешеченному вольеру, где метался огромный серый дог с налитыми кровью глазами. Но Василия предупредили: пес попал сюда из-за того, что еще в раннем щенячестве получил психическую травму, будучи покусан прохожим ризеншнауцером. С тех пор, завидев представителя ненавистной породы, он рвет поводок с такой силой, что хозяину остается лишь волочиться следом.

«Как его зовут?»

«Баскервиль. Сокращенно – Баск».

«Беру!»

Это приобретение, надо сказать, серьезно улучшило морально-супружеский климат в семье Василия: завидев пса, жена беспрекословно перебралась на балкон, а сам хозяин со своим зверем поселился в комнатах. Неделю он водил четвероногого психа на то место, где пал смертью храбрых Пират, но противоборствующая сторона не появлялась: видимо, ушла в отпуск. Наконец на восьмой день показался веселый, загорелый, отдохнувший Анатолий с Фюрером. Ризен едва успел присесть, обретя выражение тоскливой доверчивости, характерное именно для испражняющихся собак, как из темноты выскочил зверь размером с хорошего теленка. Леденящие звуки, сопровождавшие битву, вполне можно было бы использовать для саундтрека к «Парку Юрского периода». В итоге от несчастного ризена осталось не больше, чем от вождя немецкого народа, чей партийный титул ему неосторожно дали в качестве клички.

– Кстати, вы читали «Имена» Флоренского? – спросил вдруг Жарынин.

– Нет, – помявшись, ответил Кокотов.

– А вы вообще-то много читаете?

– Не очень.

– Напрасно. Надо больше читать. Ведь как верно заметил Сен-Жон Перс, нынешних критиков интересует не то, что писатель написал, а то, что он прочитал.

– Рассказывайте дальше! – обиделся Андрей Львович.

– Ага! Вам интересно! Итак, на следующий день осунувшийся Анатолий бросился в «Собачью радость» и долго в возбуждении ходил вдоль вольеров, пока не остановился возле огромного кавказца, пего-лохматого пса по прозвищу Басай. Хозяин питомника объяснил: пес

сторожил богатую дачу председателя благотворительного фонда поддержки детей-сирот (БФ ПДС) «Доброе сердце» и был натаскан на то, чтобы всякое существо, перелезшее четырехметровый забор – в особенности пронырливая ребятня, назад не возвращалось. Но как-то Басай перемахнул забор и передал в округе всех кошек, собак, покалечил даже ручного медведя, сидевшего на цепи в загородном ресторане «Мишка косялапый». Страшного кавказца усыпили, выстрелив специальной капсулой, и доставили в питомник для стерилизации, на что надо было получить согласие хозяина, который тем временем побирался на сиротские нужды где-то в Эмиратах.

За большие деньги Анатолий купил Басая (по документам это провели как гибель пса от передозировки снотворного) и тем же вечером вывел его на прогулку, трепеща от страха за собственную жизнь. Но, видимо, какое-то чувство зоологической благодарности к человеку, вызволившему его из-за решетки, все-таки теплилось в кобелиной душе, и Басай нехотя подчинялся новому хозяину. Когда появился гордый прежней победой Василий с долговязым Баском на поводке, Анатолий лишь успел сдернуть железный намордник и отскочить в сторону. Много выдавший на своем веку ветеринар-реаниматор только качал головой и цокал языком, глядя на изуродованного дога, похожего на освежеванную телячью тушу, какие подвешивают к потолку в морозильных камерах.

Утром Василий выскреб из семейной кассы последние деньги. И вот что любопытно: жена, которая прежде бесилась из-за какой-нибудь лишней кружки пива, на этот раз смотрела на мужа с молчаливой печалью, словно Пенелопа на Одиссея, отправляющегося черт знает куда и черт знает зачем. Вскоре муж вернулся из питомника с бело-розовым питбулем, похожим на помесь холмогорской свиньи и аллигатора. Звали его Кузя, но сотрудники питомника меж собой именовали пса Ганнибалом Лектером. Видимо, за то, что он отхватил полруки хозяину, вздумавшему поиграть с костью, которую пес в это время глодал. Не прикончили людоеда только потому, что известный зоопсихолог Семен Догман, написавший книгу «Друг мой – враг мой. Собака и человек», хотел произвести с ним некоторые научные опыты по заказу Международной академии кошковедения и собакознания (МАКС). Поэтому владелец питомника даже за большие деньги согласился выдать Василию Лектера лишь напрокат, пока Догман заканчивал монографию «Роковой треугольник», опрашивая домохозяек, имевших романтические отношения со своими четвероногими любимцами.

И вот настал вечер. Тревожно шелестели купы черных тополей. В небе стояла до отказа полная луна, такая яркая, что, казалось, еще мгновение – и она, оглушительно пыхнув, перегорит навсегда, точно лампочка. Василий и Анатолий сошлись на пустыре, как смертельные поединщики. Некоторое время они с безмолвной ненавистью смотрели друг на друга, еле удерживая рвущихся в бой кобелей. И наконец все так же, не проронив ни слова, спустили с поводков рычащих убийц. Поначалу казалось: приземистый Лектер обречен погибнуть, затоптанный могучими лапами Басая, но питбуль, изловчившись, схватил кавказца за горло. Вероятно, длинная жесткая вражья шерсть помешала ему окончательно сомкнуть челюсти и решить исход схватки, но и разжать зубы было уже невозможно. Так он и повис, похожий на уродливый, до земли, белый кадык, внезапно выросший у кавказца. Басай, хрипя, метнулся к деревьям: мотая головой, пес пытался могучими ударами о стволы сбить, сорвать со своей глотки врага. Не тут-то было! Лектер вцепился в Басая крепче, чем олигархи – в обескровленное тело России. Вот так, стуча питбулем о встречные деревья, автомобили, мусорные баки, углы домов, кавказец умчался в ночь. И долго еще окрестные жители вспоминали о странном двуедином монстре, который, дико воя, пронесся по микрорайону, оставляя кровавый след и сметаая все на своем пути. Больше их никто никогда не видел...

– Это все? – спросил Кокотов.

– А вам мало? – Жарынин от возмущения даже прибавил скорость.

– Нет концовки.

– Ну, тогда вот вам концовка: Анатолий и Василий с ненавистью посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Говорят, один растит теперь в ванной амазонского крокодила, а другой вместе с женой откармливает на балконе юного варана. Армагеддон впереди! Ну, как теперь?

– Теперь неплохо.

– Берете сюжет?

– Нет, спасибо! Я работаю в других жанрах.

– Это в каких же? Кстати, сколько у вас книг?

– Три, не считая... В общем, три.

– Три! И всего-то? А Лопе де Вега, к вашему сведению, написал две тысячи пьес. Взгляните на полное собрание сочинений Бальзака, Диккенса или Толстого! Вы не кажется себе после этого литературным пигмеем?

– Им помогали...

– Кто? Дьявол?!

– Ну почему же сразу – дьявол! – вздрогнул Андрей Львович. – Толстому Софья Андреевна, например, помогала...

– Помогала?! Да если бы мне моя жена так помогала, я бы ее задушил каминными щипцами! – злобно отозвался Жарынин.

– А Лопе де Вега пользовался бродячими сюжетами. Его пьесы – это же «ремейки» и «сиквелы», как сегодня выражаются...

– Вы-то сами хоть раз ремейк или сиквел писали?

– Приходилось, – вздохнул Кокотов.

– А почему тогда Гёте свой «ремейк» пятьдесят лет сочинял?! – вдруг страшным голосом закричал режиссер и, отвернувшись от летевшей навстречу дороги, уставился на Кокотова бешеными выпуклыми глазами. – «Фауст» ведь тоже ремейк!

– Вы меня так спрашиваете, – стараясь сохранять спокойствие, произнес писатель, – как будто это я был у Гёте соавтором. И, пожалуйста, смотрите вперед – мы разобьемся!

Даже не глянув на дорогу, Жарынин легко обошел внезапно выросший впереди грузовик-длинномер и сказал уже спокойнее:

– У Гёте был соавтор! Из-за этого он так долго и писал «Фауста». И вы прекрасно знаете, кто был тот соавтор!

Режиссер уставился на трассу, и некоторое время они ехали молча. Андрей Львович горестно размышлял о том, что, видимо, напрасно связался с этим странным человеком, даже не наведя о нем справок. Мало ли кто он такой? Может, маньяк! Завезет куда-нибудь... Так, припугивая самого себя, он в задумчивости нащупал в носу горошину, из-за которой ходил в поликлинику, а потом звонил однокласснику Пашке Оклякшину, работавшему врачом в «Панацее»...

– А почему все-таки, Андрей Львович, вы так мало написали? – как ни в чем не бывало дружелюбно, даже сочувственно спросил Жарынин.

– Я не сразу пришел в литературу, – пожаловался Кокотов и страшным усилием воли заставил себя не щупать нос.

– А где ж вы до этого болтались?

– Я не болтался!

– Ну хорошо: где же вы до этого самореализовывались?

– По-разному... Учителем, например, был.

– Учитель – это не профессия.

– А что же?

– Разновидность нищеты.

– Может быть, вы и правы, – отозвался Кокотов, внутренне поразившись жестокой точности формулировки. – А у вас и в самом деле есть деньги на фильм? – неожиданно для себя спросил он.

## Глава 5

### Алиса в Заоргазмье

Но в ответ из кармана жарынинской лайковой куртки донесся Вагнер – «Полет валькирий». Режиссер вынул новейший мобильник в золоченом корпусе, откинул мизинцем черепашковую крышечку и завел с какой-то обидчивой «Лисанькой» нежно-путаную беседу, из которой можно было понять, что назначенное на сегодняшний вечер интимное свидание, увы, отменяется, так как ему пришлось срочно вылететь в Лондон на переговоры. Кокотов, делая вид, будто разговор Жарынина его не интересует, достал свою старенькую «Моторолу» и обнаружил, что забыл с вечера зарядить аккумулятор. Огорченный этой пустяковой неурядицей, Андрей Львович задумался о том, как по мелодии, выбранной человеком для сотового телефона, можно определить его характер, а возможно, и карму. У него самого трубка играла печальную григоровскую «Песню Сольвейг».

Тем временем они проскочили Окружную и подъезжали к Королеву, где всегда прежде собирались пробки. Кокотов не был в этих местах лет пять и с изумлением обнаружил затейливо-грандиозную развязку, похожую на гигантского технотронного спрута, распустившего длинные щупальца, по которым во все стороны бежали крошечные автомобили. Соавторы поднырнули под брюхом спрута и помчались дальше, все так же обгоняя осторожные коробочки «Жигулей» и неповоротливые длинномеры. Мелькнул указатель на Пушкино. Деревья, стоявшие вдоль шоссе, были уже почти без листвы, но дальше, за придорожными домиками, теснились ярко-желтые, реже – багровые купы. Справа проблеснула новеньким золотым куполом отреставрированная церковь. Когда Кокотов проезжал по этому шоссе в последний раз, на месте храма виднелись развалины, напоминавшие сгнивший зуб.

«Точно золотую коронку надели, – подумал Андрей Львович и тут же мысленно извинился: – Прости, Господи!»

В последнее время он не то чтобы воцерковился – скорее стал богобоязнен. А еще точнее: его суеверная робость, ранее распространявшаяся только на черных кошек и дурные сны, начала теперь свое смиренное восхождение к Престолу Господню. Во всяком случае, позвонив Оклякшину и попросившись на обследование, Кокотов зашел в храм и поставил свечку святому целителю Пантелеймону.

– Деньги есть, – сообщил Жарынин, захлопывая крышечку и убирая телефон в карман. – Зачем мне вас обманывать? Я обманываю только женщин и себя. Моя жена работает в крупной международной фирме. Так вот, она убедила своего шефа, мистера Шмакса, вложиться в мое кино.

– Он что, ненормальный, Шмакс?! – искренне воскликнул Кокотов.

– В определенной мере – да: он влюблен в мою жену...

– И вы так спокойно об этом говорите?

– А почему я должен волноваться?! Мы женаты много лет и давно уже не вмешиваемся в личную жизнь друг друга. Знаете, в чем назначение мужчины?

– В чем?

– В том, чтобы вырастить из половой партнерши идейную соратницу!

– Неужели вам это удалось?

– Не сразу... Брак – это борьба. Мы с женой обо всем условились: она ему сказала, что я ревнив, как бабуин, и чтобы ни о чем не догадался, меня надо отвлечь. А как можно отвлечь режиссера? Дать ему возможность снимать картину – тогда он ничего вокруг себя не замечает...

– Оно конечно, – согласился Кокотов, – но во сколько же ему обойдется эта ваша... э-э-э... отвлеченность?

- В три-четыре миллиона!
- Долларов?
- Нет, этикеток от «Абрау-Дюрсо».
- С ума сойти... И ему не жалко? На эти деньги можно...

– Нельзя! Вы плохо, Андрей Львович, знаете психологию европейцев. Они же прагматики. Вкалывают с утра до вечера и ничего хорошего не видят. Они рабы, прикованные к галере бизнеса. Влюбляются до неприличного редко. Но уж если влюбляются... Для них собственные чувства – такая же ценность, как удачно вложенные деньги. И если появляется женщина, в которую можно вложить чувства, их не остановишь. Вот у нас в Союзе кинематографистов еще на износе советской власти был такой случай. В ОБВЕТе работала одна девушка...

– Где работала?

– В отделе обслуживания ветеранов. ОБВЕТ. Назовем ее, хэ-хэ, Вета. Так, ничего себе. Я пробовал – пикантно... Она страстно хотела выйти замуж за иностранца. А как известно, самые темпераментные и безоглядные среди иностранцев – итальянцы. И Вета пошла на курсы итальянского языка, окончила, стала подрабатывать гидом – и, конечно, приглядываться. Пару раз ей попадались какие-то никчемные работы в новых, специально для поездки в Россию купленных малиновых башмаках. Потом встретился сицилиец, необыкновенный любовник, который жил у нее две недели и прерывал объятия лишь для того, чтобы узнать счет на чемпионате мира по футболу. Он очень хотел жениться на Вете, но развестись не мог, ибо состоял в браке с дочерью крупного палермского мафиози, и стоило ему лишь заикнуться, как, сами понимаете, ноги в лохань с цементом – и на дно к трепангам...

– Трепанги на Дальнем Востоке, – осторожно поправил Кокотов, писавший как-то подтекстовку к детскому познавательному альбому «Кто живет на дне морском?».

– Это не важно. Слово хорошее – трепанги. Среди людей очень много трепангов. Ладно, к кальмарам... В общем, Вета уже стала тихо отчаиваться, как вдруг ее приставили переводчицей к миланскому королю спагетти, прилетевшему в Москву для организации совместного производства макарон. Назовем его для разнообразия Джузеппе. Он влюбился в нее так, как только способен влюбиться пятидесятилетний мужик, отдавший всю свою жизнь макароностроению и семье. До безумия! Он снял ей квартиру, осыпал подарками, а когда узнал, что она собирается замуж (роль жениха по старой дружбе исполнил ваш покорный слуга), то сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Джузеппе был счастлив и, подарив ей бриллиантовое кольцо, улетел в Милан улаживать дела. Там у него имелись жена и трое детей, а развестись в Италии почти так же трудно, как у нас в России двум «голубым» пожениться. Пока...

– Развод по-итальянски, – понимающе кивнул Кокотов.

– Вот именно. Год он разводился и делил имущество. Родители его проклинали, жена при каждой встрече в присутствии адвокатов и журналистов плевала ему в лицо, дети рыдали, просили выбросить из головы эту русскую проститутку и вернуться в семью. Но он был непреклонен и продолжал бракоразводный процесс. Наконец поделили все макаронные фабрики и загородные дома. Он даже смирился с тем, что жена в порядке компенсации за моральный ущерб забрала себе гордость его коллекции – знаменитый перстень Борджиа со специальной выемкой для яда. И вот Джузеппе, свободный, как попутный ветер, прилетел в Москву, разумеется, заранее дав телеграмму с характерной для итальянцев оригинальностью: «Летю на крыльях любви! Твоя Джузепчик». Ветка мне показывала! Он ведь, молодец-то какой, между судебными заседаниями русский язык поучивал!

Вета, которая весь этот год вела себя как исключительная монашка и не порадовала ни одного мужчину (кроме меня, разумеется), накрыла стол, надела специально купленный прозрачный пеньюар, а фигурка у нее – я как очевидец докладываю – очень приличная. И представьте себе: обнаружив ее в дверном проеме, просвеченную насквозь до малейшей курчавой

подробности, Джузеппе воскликнул: «Мамма миа!» И умер на месте от обширного инфаркта. Позже выяснилось: приступы у него начались еще во время бракоразводного процесса, но он полагал, что сердце болит от разлуки с любимой. Вот как бывает...

– А Вета? – грустно спросил Кокотов.

– Она чуть не сошла с ума и поклялась, что не взглянет теперь ни на одного итальянца. И слово свое сдержала: через три месяца она записалась на курсы шведского языка, а через полтора года вышла замуж за шведа. И тот, поделив во время развода принадлежавшие ему бензokolонки, в силу природного нордического хладнокровия все-таки остался жив...

– М-да, – вздохнул Андрей Львович. – Влюбляются физические лица, а разводятся юридические...

– Неплохо сказано!

Некоторое время спутники ехали молча. По обочинам шоссе стояли селяне, продававшие дары сентября: букеты астр и гладиолусов, мелкие подмосковные яблоки и огромные продолговатые кабачки, похожие на макеты дирижаблей. Среди убого однообразных домишек вдруг взмывался какой-нибудь многобашенный замок – памятник эпохе первичного накопления.

– Андрей Львович, а на что вы, собственно говоря, живете? – спросил после продолжительного молчания Жарынин. – Только не врите, что на литературу! Все равно не поверю.

– Вы будете смеяться, Дмитрий Антонович, но я все-таки живу на литературу. Если, конечно, то, чем я занимаюсь, можно назвать литературой. Сначала я вернулся в школу преподавать. Но вы не представляете, какие там теперь нравы!

– Почему же не представляю? Очень даже представляю! Меня однажды вызвала классная руководительница моего сына и стала на него жаловаться. Минут через пятнадцать она уже жаловалась на своего вечно куда-то командированного мужа, который пять лет не может купить ей шубу. А через час мы были у нее дома. Это невероятно, на какую вулканическую страсть способна обиженная в браке женщина! Наш роман длился год, и когда она писала моему сыну в дневник замечания за опоздание на урок, два восклицательных знака в конце означали, что муж снова в командировке и я могу зайти. Увы, потом он все-таки справил ей шубу, обида угасла – и наши свидания стали скучны, как практические занятия по половой гигиене. Мы расстались... Извините, я, кажется, вас перебил!

– Ничего. Но я имел в виду совсем другое. Вас когда-нибудь били за двойки?

– Конечно, отец порол как сидорову козу!

– А меня вот били за двойки, которые поставил я. Ученики... То есть не сами ученики, просто они сбрасывались и нанимали шпану из соседнего микрорайона. Раза два били по бартеру...

– По бартеру? Любопытно!

– Ничего любопытного, – грустно объяснил Кокотов. – Мои ученики отправлялись в другой район и били преподавателя, который поставил двойки их приятелям. А те в свою очередь приезжали в наш район и били...

– Вас!

– Да, меня. Как говорится, услуга за услугу.

– И сколько же вы терпели?

– Недолго. Я понял: школа не для меня, и занялся торговлей...

– Вы – торговлей? – изумился Жарынин.

– Да! Я покупал в «Олимпийском» оптом женские романы и в подземном переходе продавал в розницу. Есть такая серия «Лабиринты страсти» издательства «Вандерфогель», очень, между прочим, популярная среди домохозяек. Торговал я довольно долго, кое-что зарабатывал, а когда покупателей не было, почитывал Гегеля, Канта, Шеллинга... С философией у нашего поколения неважно. Забили голову разными «антидюрингами»...

– «Критику чистого разума» осилили? – поинтересовался Жарынин.

– Конечно, – обиженно соврал Кокотов.

(В действительности он сломался на введении, а именно – на трансцендентальном истолковании понятия о пространстве, и увлекся книгой «Похождения Рокамболя».)

– Похвально.

– Но вот однажды, за завтраком, я поругался с женой из-за подгоревшего омлета, расстроился и забыл дома «Критику чистого разума». От нечего делать пришлось читать то, что продаю. Это был роман Кэтрин Корнуэлл «Любовь по каталогу». И вы знаете, мне понравилось! Не текст, конечно, он был чудовищный, а сама мысль о том, что можно зарабатывать на жизнь, сочиняя такую вот чепуху. Потом я прочел книжку Ребекки Стоунхендж «Кровь в алькове». Потом дилогию Джудит Баффало «Алиса в Заоргазмье». Эта вещь меня особенно тронула. Разве мог я подумать, что всего через неделю познакомлюсь с автором?!

– Вы поехали за границу?

– Ничуть. Я подумал, что брать книги на реализацию прямо в издательстве выгоднее, чем у оптовиков, узнал телефон «Вандерфогеля», позвонил, представился... Меня вежливо выслушали и предложили приехать, познакомиться. Издателем оказался молодой парень в малиновом пиджаке, с бычьей шеей и короткой стрижкой, но с ним мне пообщаться не довелось – он по телефону бился за вагон колготок, застрявший в Чопе. Беседовал же со мной главный редактор – бодрый, одетый в джинсовый костюм пенсионер, в котором я не сразу узнал Мотыгина, работавшего раньше в «Пионерской правде». Он даже как-то, много лет назад, напечатал мой рассказик про детей, собиравших в поле колоски и нашедших неразорвавшийся снаряд времен войны...

– А про тимуровцев вы не писали? – хохотнул Жарынин.

– Писал... – тяжело вздохнул Кокотов. – ...Так вот, мы разговорились. Мотыгин посетовал, что бумага дорожает чуть ли не каждый день, поэтому гонорары невысокие, но ребята не жалуются. «Какие ребята? Переводчики?» – спросил я. «Да какие, к черту, переводчики!» – засмеялся он.

И тут выяснилось удивительное: никаких, оказывается, Кэтрин Корнуэлл, Ребекки Стоунхендж или Джудит Баффало в природе не существует, а есть несколько наших домотканых мужиков, они-то и лудят под псевдонимами книжки из серии «Лабиринты страсти». Это, кстати, идея хозяина, парня в малиновом пиджаке, в самом начале он объявил: «Женский роман – бизнес серьезный, и баб к нему подпускать нельзя!»

«Хотите познакомиться с Джудит Баффало?» – предложил Мотыгин.

«Почему бы и нет...»

«Пошли!» – Он повел меня в соседнюю комнату.

Там сидела бородатая Джудит Баффало собственной персоной и пила с похмельной жадностью минеральную воду. Ее я тоже знал: при советской власти, будучи Жорой Порываевым, она писала о героях-подводниках. Пожав мне руку, «Джудит» хриплым боцманским басом спросила, как мне нравится название «Алиса в Заоргазмье».

Выяснилось: приди я буквально на полчаса раньше, застал бы и Ребекку Стоунхендж, которая когда-то была знаменитым поэтом Иваном Горячевым, сочинявшим песни и поэмы о строителях Байкало-Амурской магистрали:

*То, что не по силам богу,  
Комсомолу по зубам!  
Через горы мы дорогу  
Пробиваем: БАМ, БАМ, БАМ!*

Одна из поэм так понравилась тогдашнему главному комсомольцу Боре Пастухову, что он приказал выдать Ивану по смешной государственной цене настоящую болгарскую дубленку

и реальную ондатровую шапку – страшный по тем временам дефицит. Правда, шапку у него вскоре украли в гардеробе Дома литераторов, подменив унизительной кроличьей ушанкой. Смешные времена...

– Я, кажется, слышал про этот скандал, – сообщил Жарынин, примериваясь, как лучше обогнать бензовоз, мчавшийся по шоссе с шумахерской скоростью.

– Неужели?

– Да, в ту пору я был жертвой режима, и меня часто приглашали в Дом литераторов – покормить и ободрить. Странно, что мы не встретились тогда...

– Странно... Кстати, Джудит Баффало за приличные деньги продала название «Алиса в Заоргазмье» одному популярному стрип-клубу, получила золотую карту, дающую право бесплатно заглядывать в трусики любой понравившейся танцовщице, а в придачу – набор для садомазохистских радостей. Стоит ли удивляться, что творческая интеллигенция не поддержала советскую власть в девяносто первом!

– Это вы про себя? – уточнил Жарынин.

– Ну почему же? – уклонился Кокотов.

## Глава 6

### Ал Пуг, Ген Сид и Пат Сэлендж

Некоторое время мчались молча. Пригороды остались позади, теперь по сторонам шоссе тянулся лес и мелькали новенькие бензозаправки, яркие, свежие, точно полчаса назад наброшенные Кандинским. Попадались дачные поселки. В одних – в крошечных покосившихся домиках, казалось, нищенствовали какие-то садово-огородные пигмеи. В других – богатых, просторных коттеджах под черепицей – явно обитала иная, рослая и благополучная раса.

– Еще далеко? – поинтересовался Кокотов.

– Не очень. А чем закончился ваш визит в «Вандерфогель»?

– Мне предложили сотрудничество. «Вливайся! – позвал Мотыгин. – Только у нас в подвале это сволочное время можно и пересидеть!» Да, я совсем забыл сказать: издательство располагалось в бомбоубежище. А в кабинет главного редактора вела толстая стальная дверь со специальным колесом для герметического задраивания. Раньше ведь во всех учреждениях, особенно в детских, были такие глубоченные подвалы на случай авианалета. Теперь же эти немереные площади, а их ведь тысячи, скупил по дешевке и сдают в аренду. Вот откуда у нас миллионеры, которые зовут в Россию Мадонну, чтобы она за гонорар, не вмещаемый человеческим мозгом, положила серебряную ложечку на зубик состоятельному младенцу...

– Это верно... – согласился Жарынин. – Миллионеры берутся из самых неожиданных мест. Мой друг детства – назовем его Василием...

– Василий уже был, – деликатно напомнил Кокотов.

– Не важно. Пусть он будет Геннадием. Итак, Геннадий в советские времена работал в горкоме партии и рассчитывал сделать хорошую карьеру. Но однажды его вызвал первый секретарь и буркнул, не поднимая головы от передовой «Правды»: «Есть мнение – назначить вас управляющим отраслевого банка!» – «За что?!» – только и смог вымолвить несчастный Геннадий. «Что значит “за что”?! – взревел первый секретарь. – Партия доверяет вам ответственный участок работы! Идите и хорошенько подумайте!» Бедный Василий...

– Геннадий!

– Да, бедный Геннадий промаялся всю ночь, с дрожью вспоминая страшное слово «хорошенько» и горько оплакивая свою порушенную карьеру. У него даже мелькала сюрреалистическая мысль выйти из рядов и сжечь партбилет, как это сделал грустноносый Марк Захаров. Понять моего друга можно. Ну чем был в ту пору отраслевой банк? Три десятка толстозадых бухгалтерш с арифмометрами, при помощи которых они гоняли туда-сюда казенные рубли! Никакой перспективы, тем более что Геннадий, по образованию историк-международник, готовил себя к серьезной работе за рубежом! Да и зарплата в банке маленькая... Но дисциплина есть дисциплина. Утром он встал, побрился, выпил склянку валокордина и, строевым шагом войдя в кабинет первого, доложил, что счастлив выполнить любое задание партии! Полгода он тупо подписывал отчеты, поздравлял с днями рождения бухгалтерш,пил горькую и приучал свою далеко не юную секретаршу к импортному белью. А через полгода в расписную голову Горбачева пришла идея создать акционерные и частные банки...

Теперь у Гены личный самолет, вила на Кипре, дом в Париже, дача на Рублевке, а жена звенит бриллиантами, как люстра в Большом театре. После девяносто первого, повинаясь странному порыву, он решил разыскать строгого первого секретаря, сославшего его в банк, и нашел – в полном ничтожестве: изгнанный отовсюду, старик страшно опустил и продавал матрешек в Измайлове. Тогда Геннадий из чувства благодарности, столь редкого в наше прагматическое время, взял его к себе в банк гардеробщиком. Всякий раз после того, как бывший грозный шеф помогает ему надеть кашемировое пальто, Гена дает ему стодолларовую купюру и говорит очень тихо, на ухо: «Слава КПСС!»

- Вот такая история!
- Замечательная история! – согласился Кокотов.
- А как вам концовка с первым секретарем, работающим гардеробщиком?
- Неожиданно. Прямо сейчас придумали?
- Верно! Прямо сейчас... – захохотал Жарынин и мутно глянул на Андрея Львовича. – У вас чутье! Это хорошо... На чем я прокололся?
- На матрешках. Грубовато. Может быть, вы и всю историю придумали?
- Нет, только концовку. Сама история – чистейшая правда. Могу фамилию банкира назвать. Вы его наверняка знаете: он недавно за полмиллиарда купил яхту с вертолетной площадкой, оранжереей и бассейном, в котором можно проводить чемпионаты по водному поло. Об этом много писали! А вот настоящий финал мне не нравится. Банально. Грозный первый секретарь ни в какое нищенство не впадал, ни на каком рынке не торговал, а служит председателем правительственной комиссии по расследованию преступлений коммунистического режима... Вы его знаете!
- Ну кто ж его не знает! Серьезный дед... Но концовку, сознайтесь, Дмитрий Антонович, вы снова подсочинили?
- Нет, не подсочинил, просто позаимствовал из судьбы члена Политбюро. Потому что мой первый секретарь, когда все обрушилось, от переживаний заболел раком и застрелился на даче из охотничьего ружья, чтоб не быть в тягость близким... А это, видите ли, как-то нехудожественно!
- Раком? – невольно переспросил Кокотов и пощупал шею: он где-то читал, что у онкологических больных увеличиваются лимфатические узлы.
- Вот сволочи! – выругался Жарынин.
- Режиссер резко перестроился, освобождая крайний левый ряд. И вовремя: через мгновение две автомобильные тени с пронзительным воем мелькнули и пропали за взлобком дороги, точно упали с края земли.
- Может, это как раз Гена поехал. У него в этих местах охотхозяйство, – раздумчиво сообщил режиссер. – Извините, Андрей Львович, я вас перебил! Так чем закончился ваш визит в бомбоубежище?
- В бомбоубежище? Ничем особенным. Я принял предложение и написал роман «Полынья счастья»... Перевод с английского.
- Знакомое название. А псевдоним? Какой вы псевдоним взяли?
- Аннабель Ли... – упавшим голосом ответил Андрей Львович: он как раз нащупал странное уплотнение под левой скулой.
- Достойно, очень достойно. Погодите-ка! «Полынья счастья». Ну конечно же! Эту книжку я видел у Регины и Вальки. Они страшно плевались, хохотали, цитировали мне какие-то совершенно отморозенные куски, но до конца все-таки дочитали! Поздравляю! Эти дамы мало что до конца дочитывают.
- Сочиняете? – тоскливо усомнился Кокотов.
- А вот и нет! У вас там есть место, где женщина играет в смертельную сексуальную рулетку? Есть?
- Есть... – порозовел автор «Полыньи счастья».
- Ну вот видите, прав Сен-Жон Перс: мир тесен, как новый полуботинок. А сколько вам, если не секрет, заплатили за этот роман?
- Две тысячи долларов.
- Бандиты! Меньше чем за три такие вещи не пишут! Сколько вы уже налудили?
- Шестнадцать романов.
- И сколько времени уходило на каждый?
- От двух до пяти месяцев. С перерывом на отдых.

- Когда же вы успели написать «Гипсового трубача»?
- От сна отрывал...
- Ну и как вам такая жизнь?
- Она омерзительна! – радостно воскликнул Кокотов, нащупав под правой скулой точно такое же уплотнение, как и под левой, а это значило, что он имеет дело не с увеличенными лимфатическими узлами, а с исконной анатомической пустяковиной...
- А вот я вас, дорогой Андрей Львович, везу в другую жизнь! И кстати, попутно дарю еще один сюжет для «Лабиринтов страсти». Так, на всякий случай, если мы с вами не сработаемся. Вы можете стать родоначальником нового жанра – эротической фантастики. Не пробовали?
- Фантастику пробовал. Эротическую – нет.
- Тогда слушайте! Двадцать первый век. Человечество достигло невиданных, невообразимых научных успехов! На Марсе колония землян...
- Минуточку, Дмитрий Антонович, а сейчас-то какой век?
- Ах, ну да... Все никак не могу привыкнуть. Итак, двадцать второй век. Нью-социализм. Марс. Конец нудного рабочего дня в одном из многочисленных марсианских НИИ. Завтра – трехдневный уик-энд.
- У них три выходных дня?!
- Конечно. Но раз в месяц. А какой отдых на Марсе? Тоска! Ну посидеть у телевизора, ну поваляться на искусственном пляже под искусственным солнцем или для экстрима, напялив скафандр, на сендцикле поноситься по дну высохшего марсианского моря. Скукота! И только одна сотрудница не может скрыть радостного нетерпения. Назовем ее хотя бы Пат Сэлэндж. Фантасты почему-то любят давать героям такие краткие англоватые имена. Странно, что никому из наших не пришло в голову называть персонажи по-русски. Например, Ген Сид – Геннадий Сидоров... Или – Ал Пуг. Алла Пугачева. Разве хуже? Нет, лучше! А все проклятое западничество!
- Вы, значит, славянофил? – едко поинтересовался Кокотов.
- А вас это, Андрей Львович, смущает? – спросил Жарынин, нажимая на отчество соавтора.
- Нет, но хотелось бы знать...
- А если я скажу вам, что я зоологический ксенофоб и потомственный антисемит, вы потребуете остановить машину?
- Возможно и так...
- Тогда лучше вернемся на Марс. И вот эта наша Пат Сэлэндж, чтобы спрятать туманную загадочную улыбку, низко склоняется над кульманом...
- Дмитрий Антонович, какой кульман на Марсе в двадцать втором веке?
- Да черт его знает какой... Не важно! Над сенсорной клавиатурой она склоняется. Не перебивайте! К ней в этот миг подходит ее интимный друг, обнимает...
- Ив Дор.
- Кто-о?
- Иван Дорошенко.
- Ну, вы язва, Кокотов! Ладно, будь по-вашему, Ив Дор. Он приглашает ее в театр. Залетная труппа с Земли дает «Дядю Ваню». Войницкий в последнем акте палит в профессора из блистера, но только слегка прожигает скафандр.
- Бластера. Блистер – это упаковка пилюль.
- Согласен. Но Пат в ответ на приглашение только тихо качает головой: «Нет, милый, этот уик-энд я должна побыть одна. Не сердись!» Он, обиженный, уходит, а она еще ниже склоняется к плазменному экрану своего кульмана и улыбается еще загадочнее... Вот собаки! Уже и указатель сняли!

## Глава 7

### Железная рука

Бранясь, Жарынин затормозил, съехал на обочину и, рискуя свалиться в кювет, стремительно сдал назад. Действительно, в том самом месте, где от трассы отходила, пропадая меж деревьев, узкая асфальтовая дорога, стоял трехметровый бетонный столб, позеленевший от времени. К нему, судя по остаткам ржавых болтов и уголков, прежде крепился большой указательный щит. Теперь же вместо него торчала кривая фанерка с неровными буквами, наляпанными синей масляной краской:

ДВК – 7 км

Режиссер выругался и свернул в лес. Некогда это была вполне приличная местная шоссе-сейка, которая превратилась теперь в сплошные выбоины, заполненные водой, и ямы, слегка присыпанные щебнем. Кое-где попадались, правда, остатки асфальта, напоминавшие своей дробно-прихотливой конфигурацией архипелаг. Нырнув в одну из впадин, машина довольно сильно стукнулась днищем.

– Сволочь! – выругался Жарынин. – Ну, я ему устрою!

– Кому?

– Директору! Я два раза находил ему деньги на асфальт! Экстрасенс хренов! Кашпировский недорезанный!

– А что там с Пат Сэлэндж? – пытаюсь отвлечь водителя от черных мыслей, спросил автор «Полыньи счастья».

– Ну какая еще Пат Сэлэндж! Мы сейчас без глушителя останемся!

Переваливаясь с боку на бок, как большая жестяная утка, машина все-таки двигалась вперед. Наконец показались старинные арочные ворота с ярко-желтой надписью:

ДОМ ВЕТЕРАНОВ КУЛЬТУРЫ «КРЕНИНО»

Под аркой виднелось несколько квадратных метров свежего асфальта, черного, лоснящегося, испещренного каплями влаги, словно кожа эфиопа, вышедшего из душа. В едва затвердевшую поверхность кто-то успел предусмотрительно вдавить белые камешки, которые в целокупности составили самое краткое отечественное ругательство. И Кокотова вдруг осенило, что решающее объяснение между Ромой и Юлей должно состояться в тот самый момент, когда она мучается, составляя по указанию главного редактора кроссворд из ненормативной лексики. Дело в том, что пузатый шеф сам подбивал к ней клинья, но, получив отказ, стал гнусно придирается на планерках и давать разные глумливые задания. Юля в полной растерянности: тонкая, внутренне чистая девушка с высшим филологическим образованием, этакая Золушка развратного мегаполиса, она просто не в состоянии выполнить издевательское поручение. Но если в полночь она не сдаст готовый кроссворд, ее уволят. И тут, подобно тетушке-фее, к ней на помощь спешит влюбленный Рома. Они, подбадривая друг друга, склоняются над кроссвордом, испещренным самой разнузданной площадной бранью, и наконец происходит объяснение. О, это первое признание в любви, тихое, робкое, нежное, как дуновение розового расцветного ветерка над камышовой заводью!..

– Ну так-то, поганец! – удовлетворенно воскликнул Жарынин. – Вот он, русский человек в действии! Не может украсть все до последнего. Хоть чуть-чуть, а оставит ближнему! Именно это спасет Россию! Россия – Феникс! Вы читали «Петербург» Андрея Белого?

– Разумеется... – кивнул Кокотов, собираясь честно добавить «нет», но передумал.

– А может, вы думаете, что Россия – сфинкс? – насторожился режиссер.

– Нет, я так не думаю! – поспешил успокоить его Андрей Львович.

– Хорошо! Отлично!

Эти несколько квадратных метров свежего дорожного покрытия привели Жарынина в прекрасное расположение духа. Попробовав ногой асфальт, он остался доволен и качеством укатки, и кратким словом, выложенным из камешков.

– Ладно, так и быть, дорасскажу вам про Пат, а то забуду. В общем, наша Пат много лет копила деньги и наконец получила то, что хотела. Наука к тому времени научилась по останкам не только восстанавливать давно скончавшиеся организмы, но и воспроизводить все мельчайшие подробности их истлевшей жизни. Вот вы вчера пили же?

– А что, заметно?

– Конечно! – Жарынин пальцем изобразил на запотевшем стекле крестик. – И вот по такому кусочку косточки, – он показал полмизинчика, – наука может определить, сколько вы выпили, когда и что именно...

– А какое это имеет отношение к Пат Сэлэндж? Она у вас алкоголичка?

– Ах, мы еще и с юмором! Нет. Но точно так же можно восстановить и всю любовную биографию человека! Все его томления и неги. Вот вы бы хотели испытать оргазм Казановы?

– В каком смысле?

– Ладно, не валяйте дурака! Да или нет?

– Не отказался бы!

– Так вот, одно из главных развлечений той будущей цивилизации – покупка оргазмов знаменитых любовников мировой истории. Ну, в общем, тех, чьи останки удалось отыскать. Мадам Помпадур, Потемкин, Екатерина Великая, Нельсон, леди Гамильтон, Сара Бернар, Распутин, Лиля Брик... Кстати, в том толерантном до тошноты мире учтены интересы и людей нетрадиционной ориентации. Можно при желании испытать оргазм динозавра, саблезубого тигра, голубой акулы или, наоборот, колибри...

– А кого выбрала Пат?

– А как вы думаете?

– Не знаю...

– Хорошо, подскажу. Она у нас девушка без вредных сексуальных привычек, более того, даже немного старомодная.

– Надо подумать...

– Думайте! Когда догадаетесь, я продолжу. Мы опаздываем к столу.

Режиссер нажал на газ – и машина рванулась вперед. За поворотом открылась широкая аллея, обсаженная огромными черными липами, и вела она к видневшемуся вдаль, на холме, совершенно борисово-мусатовскому особняку с колоннами и полукруглой балюстрадой перед входом.

– Потрясающе! – воскликнул Жарынин и затормозил.

– Мы же опаздываем к завтраку!

– Не к завтраку, а к письменному столу. Но красота важнее! Места здесь заповедные!

Оказывается, Дом ветеранов культуры располагался в старинной, чудом уцелевшей дворянской усадьбе, воздвигнутой в позапрошлом веке на высоком берегу речки Крени. Впрочем, речка в незапамятные времена была запружена, и с крутизны открывался каскад из трех прудов, обросших по берегам ветлами. Барский дом окружал английский парк с долгой липовой аллеей и большим искусственным гротом, где бил целебный источник.

Это была, наверное, единственная уцелевшая дворянская усадьба в округе. Сохранилась она, если верить Жарынину, по весьма любопытной причине: у дореволюционного владельца поместья штабс-капитана Куровского, потерявшего на Японской войне руку, имелся металлический протез с пальцами, которые со страшным клацаньем приводились в движение специальным пружинным механизмом. Летом 1917-го окрестные мужички, пускавшие красного петуха направо-налево, добрались и до Кренина. Куровской вышел к балюстраде в парадном

мундире с георгиевскими крестами на груди и, постукивая протезом о перила, строго спросил: мол, зачем, любезные, пожаловали? А те, мгновенно утратив поджигательский пыл, безмолвно смотрели на страшную железную руку.

– Да так, барин, проведать зашли...

– Ну, проведали и ступайте с Богом! – молвил штабс-капитан и, клацнув особым механизмом, указал им стальным перстом дорогу.

С тем смутьяны убрались и более не возвращались, хотя в уезде спалили всех помещиков... В 1919-м, при большевиках, председателем уездной «чрезвычайки» стал некто Кознер. Сам он был из недоучившихся студентов и протезов не боялся, так как в высшем инженерном училище разных механизмов навидался вдоволь. Он-то и расстрелял штабс-капитана за монархический заговор, составленный самим инвалидом войны, его женой, двумя малолетними детьми, садовником, кухаркой и ее мужем-истопником, который, собственно, и донес в ЧК, боясь возмездия за украденный и пропитый хозяйский золотой портсигар. В Московскую губернию Кознер, кстати, прибыл из Киева, где служил в печально знаменитом особом отделе 12-й армии и прославился тем, что по ночам пускал в сад раздетых донага контрреволюционных гимназисток и охотился на них с маузером. Пострадав за злоупотребление революционной законностью, он стал тише, но еще любил попугать на допросе несчастных железным протезом, снятым с мертвого Куровского и служившим чекисту пресс-папье.

В двадцатые годы Кознера, сочинявшего в юности стихи в духе Надсона, бросили руководить секцией литературной критики Пролеткульта. Каждую свою статью или рецензию он заканчивал одной и той же фразой: мол, куда же смотрит ОГПУ? Кознер и подал идею устроить в Кренино дом отдыха для утомившихся революционных деятелей культуры, которые на курорте расслабятся и наговорят много чего интересного – надо только внедрить парочку агентов. Однако даже этого не понадобилось: мастера искусств по собственному почину буквально завалили карающий революционный орган доносами, причем некоторые из них были развернуты в трактаты и даже поэмы. В спецархиве ФСБ до сих пор прилежно хранятся в неразобранном виде эти документы суровой эпохи.

Раньше они покоились на своих полках тайно, однако во времена перестройки их рассекретили и пригласили исследователей, мол, вникайте, изучайте, осмысливайте! Один известный театровед, начитавшись доносов, сошел с ума. Проявлялось это весьма необычным образом: утром, позавтракав, он выходил на улицу и бродил по городу, плюя на мемориальные доски, прикрепленные к стенам домов, где проживали выдающиеся деятели. Во всем остальном он был совершенно нормален и даже вел в газете «КоммивояжерЪ» колонку «Просцениум». А еще один не менее знаменитый литературовед, поработавший со злополучным фондом, запил горькую и хлебал до тех пор, пока однажды не отправился в магазин за добавкой совершенно голым. Его, конечно, задержали, и он под протокол объяснил свое поведение так: в сравнении с бесстыдством советских классиков, которое он обнаружил в архиве ФСБ, натуралистический поход за водкой – невинная шалость. Его, разумеется, отправили на медицинскую реабилитацию, вылечили; с тех пор он не пьет, но и не пишет. А архив снова засекретили, только уже не из идеологических, а из гуманистических соображений.

Кстати, Максим Горький любил наезжать сюда, попить из целебного кренинского источника, чьи воды совершали чудеса оздоровления головы, желудка, простаты и прочих жизнедеятельных органов. Шутили, что водичка делает талантливых еще талантливее, а бездарей еще бездарнее. Местный остряк переименовал «Кренино» в «Ипокренино», намекая на знаменитую древнегреческую Ипокрену, дарившую поэтам вдохновение.

С годами приют разросся и стал называться Домом ветеранов культуры (ДВК). В старом помещицком особняке остались теперь лишь библиотека и администрация, а рядом вырос бело-голубой корпус, напоминающий больничный. На первом этаже разместились врачебные

и процедурные кабинеты, а выше – однокомнатные квартиры с балкончиками. В столовую вела стеклянная галерея.

– Замечательное место, – вздохнул Жарынин, – только здесь и можно творить вечное!

– Почему?

– Атмосфера удивительная: почти каждую неделю кто-нибудь ласты склеивает. Прямо «Волшебная гора». Не читали? Советую. Средний возраст насельника – восемьдесят три года! Человек умирает, комната освобождается и стоит пустая, пока оформляют нового постояльца. А оформление иногда затягивается. Ветеран, чтобы поселиться здесь, должен передать свою квартиру в фонд «Сострадание». Чтобы помещение не пустовало, номера сдаются под творческие мастерские, как нам с вами... А иногда просто пускают постояльцев, как в гостиницу, иной раз на одну ночь. Вы меня поняли? Директор тут ушлый. Экстрасенс! Еще познакомьтесь...

Меж тем машина промчалась между черно-золотыми липами, ворвалась на стоянку и лихо вписалась в узкий просвет между навороченным черным джипом «Лексус» и фургоном.

Режиссер открыл дверцу, вышел из автомобиля и шумно вздохнул.

– Боже, какой воздух! Пакуй – и на экспорт. Ну, здравствуй, «Ипокренино»! – Молвив это, он сдернул свой бархатный берет и в пояс поклонился.

Писатель тем временем соображал, как выбраться из машины. Жарынин припарковался так близко к фургону, что дверца едва открывалась.

– Ну что вы там копаетесь? – недовольно позвал режиссер.

Кокотов вскинул голову и от удивления открыл рот: без берета Жарынин показался ему совершенно другим человеком. Под оперенным бархатом скрывалась милая, глянцевая и весьма обширная лысина, придававшая грозному облику Дмитрия Антоновича какой-то водевильный оттенок. Автор «Полюны счастья», скрывая улыбку, протиснул живот в щель, осторожно извлек ноутбук и оказался на свободе. Режиссер открыл багажник и начал небрежно выкидывать вещи на асфальт. Андрей Львович с оборвавшимся сердцем едва успел перехватить у него свой чемодан.

– Пошли! – Жарынин снова надвинул на голову берет, легко поднял раздутую спортивную сумку и двинулся к входу. Но вдруг, спохватившись, он вернулся к машине, просунулся в салон и достал с заднего сиденья трость темно-красного дерева. Вещица была явно антикварная: черненная серебряная ручка представляла собой пуму, застывшую в кровожадном прыжке...

## Глава 8

### Рейдеры и незнакомка

Снова послышались звуки «Валькирий».

– Да, Ритонька, доехали. Все хорошо! Чувствуешь, какой тут воздух? – ответил в трубку Жарынин, несколько раз шумно вдохнув и выдохнув. – Как там мистер Шмакс? Будь с ним поласковой! – попросил он жену и подмигнул Кокотову, который грустно думал о том, что частота звонков на мобильник, особенно женских, – бесспорное свидетельство мужской состоятельности.

Задетый за живое, писатель сильно сжал в кармане свою старенькую «Моторолу», словно хотел сделать ей больно. Тем временем режиссер закончил разговор и дружески помахал бомжеватому дядьке, лениво соскребавшему с дорожек палые листья раритетной березовой метлой. Такие в Москве уже не увидишь. Нет, не увидишь!

– Кто это? – полюбопытствовал Кокотов.

– Агдамыч. Последний русский крестьянин! – был ответ.

Из-за поворота аллеи показалась стайка усохших до подросткового изящества старичков. Они что-то горячо обсуждали промеж собой звонкими обиженными голосами. Если бы не палочки в морщинистых, обкрапленных коричневой сыпью руках, если бы не спекшиеся от времени лица, их можно было бы принять за ватагу мальчишек, отправляющихся на бедокурство. Жарынин радостно взмахнул тростью и, приветственно раскинув руки, пошел им навстречу.

Но вдруг все они как по команде умолкли: из могучей резной двери, видневшейся между колоннами, вышли странные люди. Они стремительно простучали мимо каблуками, чуть не сбив с ног еле успевшего отпрянуть Кокотова. В центре шел невысокий человек в широкополой шляпе и развевающимся черном пальто из тонкой кожи. Наблюдательный писатель отметил его необычную, какую-то театральную походку, аккуратную бородку и темные очки, оседлавшие хищный кавказский нос.

Глядя себе под ноги, он отрывисто говорил по мобильному телефону, совершенно незаметному в ладони, поэтому казалось, что незнакомец просто зажимает рукой заболевшее ухо. По четырем сторонам от него, образуя каре, шагали, старательно озираясь, плечистые восточные парни в черных костюмах и строгих галстуках.

– Кто это? – испуганно спросил Андрей Львович.

– Это Ибрагимбыков, – не сразу ответил Жарынин, мрачно наблюдая за тем, как странные люди садятся в огромный джип.

– А что им здесь нужно?

– Всё!

– Как это?

– Рейдеры...

Ветераны, дождавшись, когда «Лексус», взметая палые листья, скроется из виду, подбегли к режиссеру. Он молча пожал каждому руку с той подчеркнутой серьезностью, с какой взрослые обычно обмениваются рукопожатиями с незрелыми детьми.

– Дмитрий Антонович, вы нам поможете? – тихо спросил старичок, одетый в темно-синий пиджак с орденскими планками, но обутый при этом в шлепанцы. Он обнимал за талию бодрую старушку гимнастического телосложения.

– Конечно! Этот Ибрагимбыков у нас быстро в ящик сыграет! – весело ответил режиссер.

Старческая общественность, дребезжа, засмеялась, и громче всех хохотал орденосец в тапках, особенно польщенный непонятым Андрею Львовичу смыслом шутки. Оставив своих ветхих друзей в хорошем настроении, Жарынин повел Кокотова в дом – и они очутились в

холле, показавшемся после утренней улицы темным и мрачным. Направо уходил коридор, а впереди возвышалась, образуя трапецию, двускатная мраморная лестница. Вершиной трапеции служил небольшой полукруглый балкончик. На нем, наверное, во времена балов и детских праздников извивался капельмейстер, повелевая оркестриком. Теперь же там стояли кадочная пальма и пара кожаных кресел. В одном из них сидела молодая женщина и смотрела в полукруглое окно, полное грустной осенней синевы.

В глубине, под лестницей, обнаружилась обитая черным дерматином дверь, явно не предусмотренная архитектором, а возникшая позже – по хозяйственной необходимости. Имелась и золотая табличка:

*Директор ДВК «Кренино»  
А. П. Огуревич*

Возле двери топтался растерянный лысый толстяк в полосатом двубортном костюме. Его румяное лицо с мускулистыми, как у саксофониста, щеками выражало неполное отчаяние. Такое бывает, если человек уже обнаружил отсутствие бумажника в привычном кармане, но пока еще не потерял надежды, что просто переложил его в другое место. Увидав вошедших, он мученически улыбнулся и шагнул навстречу:

- Наконец-то, Дмитрий Антонович, наконец-то!
- Ну, здравствуй, здравствуй, старый жучила! Рад тебя видеть!

Они обнялись и трижды бесконтактно поцеловались, трогательно сблизив лысины. При этом толстяк успел доброй улыбкой и косвенным взглядом оповестить Кокотова, что «жучила» – это просто ласковое, даже дружеское преувеличение, никакого отношения к характеру его деятельности не имеющее.

– Аркадий Петрович – директор этого богоспасаемого заведения! – представил Жарынин незнакомца. – А это – Андрей Львович Кокотов, писатель прустовской школы.

– Ну уж... – смутился автор «Полюны счастья».

– Ну как же, как же! – воскликнул Огуревич с таким видом, будто без книг Кокотова и в постель-то никогда не ложился. – Очень рад!

Рукопожатие у директора оказалось мягкое, теплое и словно бы засасывающее.

– Ибрагимбыков сейчас от вас вышел? – строго спросил Жарынин.

– От меня.

– Ну и что хотел этот башибузук?

– Требовал, чтобы мы забрали встречный иск. Мы же судимся...

– А вы?

– Выгнал его вон! – гордо ответил Аркадий Петрович.

– Неужели? – недоверчиво прищурился Жарынин. – Станный он какой-то... рейдер!

– Ах, боже мой, я ведь на том и попался. Сначала Руслан Отарович произвел на меня прекрасное впечатление. Я даже рекомендовал его Медеянскому.

– Гелию Захаровичу? Как он?

– Судится. Горькая старость, хотя и не без удовольствий...

– Вы бы рассказали поподробнее, что тут у вас происходит!

– Непременно... Обязательно. Очень надеюсь на вашу помощь! – молитвенно сложил руки директор. – Вы пока устраивайтесь, а потом ко мне, как обычно, на коньячок...

Кокотов, скучая, огляделся. Стена напротив лестницы вся почти состояла из высоких, от пола до потолка окон. Старинные переплеты казались сделанными из гипса – столько раз их красили и перекрашивали. Потолок был лепной, а увешанные хрустальными штучками бронзовые ветви люстры покрылись благородной зеленью. Откуда-то потянуло питательным воздухом – и в желудке Кокотова просительно заурчало. В этот миг он заметил, как женщина на капельдинерском балкончике поспешно встала из кресла, оперлась о низкие перила и внима-

тельно прислушивается к разговору. Это была модно остриженная светловолосая дама, одетая в обтягивающие серые вельветовые джинсы и белую ветровку, явно дизайнерскую, похожую на черкеску с газырями. На ее плече висел небольшой крокодиловый портфель.

– Аркадий Петрович! – ласково позвала она сверху, придав своему красивому лицу капризно-просительное выражение. – Так я возьму Колю?

Огуревич встрепенулся, задрал голову и пригусарился.

– Конечно, Наталья Павловна, конечно! – подтвердил он, сладко улыбаясь.

– Доеду до сервиса и сразу его отпущу... – добавила она.

– Хорошо, хорошо...

Жарынин тоже глянул вверх, и его физиономия преобразилась тем изумительным образом, каким меняется лицо дегустатора, отхлебнувшего дежурного столового вина и вдруг обнаружившего в нем редчайший букет и небывалое послевкусие. Кокотов, надо сознаться, тоже поймал себя на глупейшем, совсем мальчишеском чувстве, которое, как это ни удивительно, живет в нас до глубокой мужской старости. Когда в детстве Светлана Егоровна брала его с собой в какие-нибудь скучнейшие гости, он хныкал, отнекивался, дулся, но лишь до тех пор, пока не обнаруживал там, в гостях, незнакомую хорошенькую девочку. И жизнь тут же становилась интересной, наполнялась таинственным, трепетным, пусть даже очень недолгим смыслом.

– Хорошо, хорошо. Конечно, возьмите, Наталья Павловна! – повторил директор.

– Спасибо! – кивнула она, поправила на плече ремень портфельчика и еще раз внимательно посмотрела вниз.

Кокотов почувствовал, что глядит она именно на него – причем с явным удивлением. Это продолжалось мгновение, затем Наталья Павловна еле заметно пожала плечами и стала медленно спускаться. Трое мужчин сопровождали ее нарядное тело проникающими взглядами.

– Кто это? – играя бровями, тихо спросил Жарынин.

– Лапузина. Снимает у нас номер. По семейным обстоятельствам, скандальная история, – торопливым шепотом объяснил Огуревич. – Идите, Дмитрий Антонович, оформляйтесь! А потом ко мне. На вас вся надежда!

– Помогу чем смогу, – кивнул режиссер с солидной сдержанностью влиятельного человека. – Вот и у Андрея Львовича связи в Генеральной прокуратуре.

– Правда? – посветлел Огуревич.

– Правда! – с удивлением подтвердил писатель.

Тем временем Лапузина снизошла с лестницы, едва кивнув мужчинам, еще раз пристально глянула на Кокотова и направилась к выходу, оставляя за собой тонкий дорогой аромат, удивительно совпадавший с ее грациозной походкой.

– Оформляйтесь! Я предупредил бухгалтерию, – заторопился директор.

– Люкс?

– Медеянский, – развел руками директор.

– А Андрей Львович? – строго спросил Жарынин

– Скажите, со мной согласовано! – Огуревич страдальчески напряг щеки и поспешил вслед Наталье Павловне.

– М-да, штучка, – молвил режиссер.

– А Медеянский тоже здесь? – удивился Кокотов.

– Вы его знаете?

– Конечно.

– Нет, он в Брюсселе. Бьется за своего Змеюрлика.

Бухгалтерия располагалась в коридоре, где запах скорого обеда чувствовался гораздо сильнее. В комнате за столами, стоящими друг против друга, сидели две ухоженные дамы позднего зрелого возраста. Одна – крашеная брюнетка, вторая – блондинка, тоже ненатураль-

ная. Первую звали Валентина Никифоровна, вторую – Регина Федоровна. Брюнетка, заметив Жарынина, заулыбалась и порозовела – именно так розовеет женщина при виде мужчины, с которым у нее что-то было или хотя бы намечалось. Любопытно, что с блондинкой произошло то же самое, она также порозовела и заулыбалась, из чего наблюдательный Кокотов сделал вывод: очевидно, две дамы не только вместе работают, но и, возможно, сообща ищут по жизненным закоулкам свое гендерное счастье.

Режиссер от солидной сдержанности мгновенно перешел к шкодливому веселью, он что-то интимно нашептывал бухгалтершам, подсовывал запасенные шоколадки, шумно радовался новому цвету волос Валентины Никифоровны, наичернейших, как обгоревшая пластмасса. Судя по его удивленным возгласам, брюнетка еще недавно была тоже блондинкой. Он настойчиво выпытывал у зардевшейся женщины причину такой внезапной перемены колора, а она, уходя от ответа, томно намекала на какие-то обстоятельства сокровенного свойства. Кстати, после нашептываний бухгалтерши стали поглядывать на автора «Полыньи счастья» с лукавым интересом.

– Андрей Львович, можно ваш паспорт? – почти строго спросила Регина Федоровна, явно раздосадованная интересом Жарынина к волосам подруги.

– Да-да, конечно... – Кокотов нервно зашарил по карманам, нашел и протянул ей документ.

Она профессионально пролистнула странички. Подняв глаза от даты рождения, критично оценила биологический износ постояльца, но затем, обнаружив штамп развода, еще раз посмотрела на Кокотова – теперь гораздо доброжелательнее.

– Надолго к нам? – потеплевшим голосом уточнила она.

– На две недели, как и я, – ответил за него Жарынин.

– Очень хорошо... – все с тем же интересом произнесла она. – Андрей Львович, вы член творческого союза?

– Да, конечно...

– Тогда вам будет скидочка двадцать процентов. Итого с вас... – Мелькая кроваво-красным маникюром, Регина Федоровна заиграла пальцами по клавишам большого калькулятора.

– Нисколько! – остановил ее Жарынин. – Андрей Львович – тоже гость Аркадия Петровича!

– Аркадий Петрович ничего мне про это не говорил... – Валентина Никифоровна отстранилась от режиссера, и в ее лице появилось некое бухгалтерское оцепенение.

– Валечка, ты мне не веришь?!

– Верю, конечно, Дмитрий Антонович. Как же вам не верить! – с этими словами она сняла трубку внутреннего телефона, но отзвона не дождалась.

Тогда бухгалтерша прибегла к мобильнику:

– Аркадий Петрович, тут у нас проблемка... с... вторым гостем... Понятно! Я так и думала. Оформим.

Пока длилось это недоразумение, Кокотов, смущенный возникшей «проблемкой», уставился в окно, выходящее в парк. Там он увидел Наталью Павловну. По-девчоночьи покачивая крокодиловым портфельчиком, она шла к автомобильной стоянке. У нее была походка повелительницы мужчин. Из бежевой «Волги» ей навстречу выскочил шофер и распахнул заднюю дверцу.

«Наверное, трудно быть красавицей!» – подумал писатель.

– Что, и вам тоже понравилась? – поинтересовалась Регина Федоровна, проследив направление его взгляда. – Мужа поехала обирать! Вот здесь поставьте автограф: с правилами противопожарной безопасности ознакомлен. И контактный телефончик напишите, на всякий случай...

Сказано это было с той обидчивой иронией, с какой дамы частенько говорят о своих «однополчанках» (от слова «пол», разумеется), стоящих на ступенях женского совершенства выше, нежели они сами.

– Вы это про кого? – Кокотов сделал вид, что не понял.

– Передайте, пожалуйста! – Она холодно протянула ему два заполненных форменных бланка. – А что, Лапузина у нас продлевается?

– Ну конечно же! Ее муж выгнал... – Валентина Никифоровна приняла бумажки и, нахмурившись, внимательно изучила обе формы, словно заполняла их не сидящая напротив подруга, а кто-то неведомый с недобрыми замыслами.

Дочитав, она поставила визу, открыла сейф, вынула печать, подышала, эротично округлив густо намаженный рот, и шлепнула два раза с такой силой, что в комнате дрогнули старинные половицы. Затем так же, через Кокотова, Валентина Никифоровна вернула бумажки Регине Федоровне, которая в свою очередь внимательно оглядела подписи и печати, точно подруга могла расписаться как-то недостоверно или – еще хуже – поставить какую-нибудь постороннюю печать. После этого блондинка, приложив линейку, аккуратно оторвала квитанции от приходных ордеров, которые, пробив дыроколом, подшила в специальную папку с надписью «Ветераны ВОВ». Причем от ударов по дыроколу половицы еще раз содрогнулись, а квитанции тем же путем очутились на противоположном столе. Тщательно исследовав их, Валентина Никифоровна свернула бумажки в трубочки и открыла нижний ящик стола. Там в лузах лежали деревянные груши с выбитыми на них цифрами. К грушам были прикреплены ключи. Она вынула две груши под номерами 37 и 38, а в опустевшие лузы вложила квитанции.

– Как просили – рядышком! – сказала брюнетка, значительно глянув на Жарынина. – Обед с двух до трех. Не опаздывайте! Ну, вы знаете...

– Андрей Львович, – окликнула Кокотова уже на пороге Регина Федоровна. – Паспорт-то заберите! И поаккуратнее с документом. А то кто-нибудь получит кредит в банке, а вас потом в тюрьму посадят!

И обе захохотали над этой, видимо, популярной среди финансовых работников шуткой так громко и широко, что стало ясно: дантист у них тоже – общий...

## Глава 9

### Приют скитальцев духа

Кокотов втащил вещи в свой номер и перевел дух. В помещении стоял тяжкий запах чьей-то лекарственной старости. На блекло-салатных обоях виднелось множество зеленых больших и маленьких квадратов, прямоугольников, овалов – следы от фотографических рамок. На люстре зацепился клочок серебряной новогодней канители. В остальном же комната имела обычный гостиничный вид: полуторная кровать с тумбочкой, полированный шифоньер, вздрагивающий холодильник «Полус», письменный стол с протертым вращающимся креслом, сервант с остатками дулевского сервиза в горошек и, наконец, телевизор – огромный ламповый реликт эпохи расцвета советской электроники.

Чтобы проветрить помещение, Андрей Львович с треском открыл балконную дверь, с прошлой зимы заклеенную бумажными полосами, затвердевшими от высохшего клея. Большая, во всю стену, лоджия выходила в парк. Достававшая до третьего этажа рябина уронила ярко-рыжие гроздья на металлические перила. Кокотов глубоко вдохнул грустный осенний воздух и стал счастлив. В эмалевом небе светило нежаркое солнце. Внизу уступами уходили вдаль три прямоугольных пруда, наполненных темной водой и белыми кудлатыми облаками. А дальше открывался настоящий русский простор с красно-желтыми лиственными и сине-дымчатыми хвойными перелесками, палевым жнивьем и фиолетовыми пашнями, простодушными деревенками и золотой монастырской колоколенкой, похожей отсюда, издалека, на клубный значок, воткнутый в твидовый пиджачный лацкан. Андрей Львович ощутил вдруг в самых дальних, клеточных глубинах своего тела такую тоскливую любовь к этой земле, что теплая слеза умиления скатилась, холодея, по щеке. Он подставил ладонь, потом слизнул соленую капельку и, стараясь не думать о предстоящем обследовании у Оклякшина, вернулся в комнату.

В совмещенном санузле с родниковой неиссякаемостью журчал унитаз, а полиэтиленовая штора, закрывавшая ванну, являла собой давнюю, безнадежно устаревшую политическую карту мира. На ней еще существовал огромный розовый Советский Союз, напоминавший великана, прилегшего отдохнуть после русской баньки, безмятежно подставив врагам свое тугое южное подбрюшье. На ней еще невольно прижимались друг к другу лютые враги – светло-коричневая ГДР и темно-коричневая ФРГ. Лиловая и длинная, как молодой баклажан, неделимая Югославия вытянулась в пол-Адриатики. Не было еще на карте ни воинственной Грузии, ни зарумынившейся Молдавии, ни злобных прибалтийских карликов, ни Украины с ее незалежным мовоязом...

Кокотов вытер руки о крошечное махровое полотенце, ветхое, словно обрывок музейного савана, вышел из санузла, открыл чемодан и стал развешивать на плечиках в шифоньере свои вещи, не успевшие за короткую поездку слежаться в тряпичный брикет, как это бывает после авиационного перелета. Когда чемодан опустел и на дне осталось лишь несколько разноцветных пилюль, выпавших из своих упаковок, выяснилось, что зарядное устройство для мобильного забыто дома. Это ужасно огорчило Андрея Львовича, который вообще умел безутешно расстраиваться из-за разных мелких бытовых неурядиц. Неверная Вероника в таких случаях обычно дружески советовала: «А ты повесься – легче будет!»

Казнясь, писатель подсел к зеленому замызганному телефону, стоявшему на журнальном столике, но обнаружил в трубке лишь потрескивавшую тишину. Он несколько раз нервно нажал на рычажки, снова прислушался и уловил все то же шуршащее безмолвие. Подавленный, Кокотов бессмысленно уставился в окно, однако золотая сентябрьская роскошь теперь показалась ему насмешкой природы, по живому режущей глаза...

А тут еще в номер шумно, стремительно и бесцеремонно, как оперуполномоченный с ордером, вошел Жарынин. Критически осмотрев комнату, он громко продекламировал:

*Приветствую тебя, приют скитальцев духа!  
Насельникам дубрав кричу я: «Исполать!»*

- А у меня вот телефон не работает! – наябедничал автор «Бойкота».
- Не переживайте, работает. Просто здесь номера спаренные. А ваш сосед Чернов-Квадратов, – он указал на стену, – очень любит поговорить. Из-за него здешний дед и помер... Народный артист, между прочим!
- Как это?
- Сердечко прихватило, а телефон занят. Ни «Скорую» вызвать, ни врача.
- А мобильник? – спросил Андрей Львович, чувствуя опасное стеснение за грудиной.
- Ну какие у дедов мобильные? А если и есть, то экономят... Как говорил Сен-Жон Перс: «О юность, ты мотовка! О старость – скряга ты!»
- Я зарядное устройство дома забыл... – грустно сообщил Кокотов.
- Ерунда! Мой сотовый к вашим услугам. Соавторы должны помогать друг другу.
- А мы разве соавторы? – насторожился писатель, почувствовав в этом заявлении скрытую угрозу своей финансовой будущности.
- Конечно! Назовите мне хотя бы один фильм, в котором режиссер не был соавтором сценария!
- Кокотов сделал вид, что припоминает.
- Ну же! Ну!
- Андрей Львович наморщился в трагическом отчаянии – именно так морщат лбы голливудские звезды, спрашивая у партнерши: «Куда, дорогая, ты положила мою пижаму?»
- Не тужьтесь – не вспомните! Потому что таких прецедентов в мировом кинематографе нет! А лучше объясните, почему эта Наталья Павловна так на вас смотрела?
- Вы тоже заметили?
- Еще бы! Если бы она так посмотрела на меня, я бы еще понял. Вы с ней знакомы?
- Нет. Не помню.
- «Нет» или «не помню»?
- Не помню.
- Правильно. Не отрекайтесь от возможного! Великий Сен-Жон Перс говаривал, что каждая прошедшая мимо незнакомка – это часть великого несбывшегося. Но иногда мы забываем даже сбывшееся. Вот со мной, Андрей Львович, произошел однажды прелюбопытнейший случай. Вы, конечно же, знаете, что деньги на большое и чистое искусство, наш с вами случай исключение, можно добыть только у власти. Олигархи – жадные сволочи, скобари! Достаточно вспомнить яйца Вексельбурга...
- А что у него с яйцами? – не понял Кокотов.
- Вы что – газет не читаете?
- У меня много работы...
- Ах, ну да... Аннабель Ли – дама приемистая. А вот Федор Михайлович, между прочим, в клозет без свежей газеты не заходил. Докладываю: Вексельбург хотел принести в дар нашему многострадальному государству поддельные яйца Фаберже, а настоящие оставить себе – на память. Разоблачили его в самый последний момент и приговорили к инвестициям в нанотехнологии. Жуть! Поверьте мне, любой олигарх – жадный мерзавец! Самое большее, на что он способен, – это унизить дармовым ужином в ресторане, а потом при каждой встрече делать такое лицо, словно вскормил вас, спасая от голодной смерти, своей волосатой грудью. Благотворительность – мерзость, а меценаты – вампиры, которые высосали из людей тонны крови, а потом торжественно, под вспышки камер, идут сдавать на донорский пункт свои кровные двести миллилитров... Вы согласны?

- Ну в общем... Не совсем! А как же Мамонтов, Третьяков, Морозов?..
- Вы еще Иисуса Христа вспомните! Нет, я не стану вам рассказывать эту историю...
- Ну хорошо, я согласен.
- То-то! Так вот, отправился я однажды просить деньги на новый фильм к одной очень крупной чиновнице, о которой слышал, что к казенным средствам она относится без излишней задумчивости. Впрочем, тогда, при Ельцине, задумчивость считалась в Кремле дурным тоном...
- А что за фильм?
- Какая разница! Это к делу отношения не имеет.
- Ну а все-таки?
- Сиквел «Евгения Онегина».
- Наверное, это когда Ленский убивает на дуэли Онегина... – вздохнул Андрей Львович.
- Да! Правильно. Я, кажется, в каком-то интервью проболтался... Вы читали?
- Нет, я сам догадался, – молвил писатель, тихо сквитавшись за «приемистую» Аннабель Ли.
- Уели! А вот насчет Татьяны никогда не догадаетесь!
- Она вышла замуж за Дубровского?
- Ах ты господи, он еще и остряк! Не-ет, она выходит замуж за ссыльного шляхтича, а после разгрома польского восстания эмигрирует в Северную Америку, в Джорджию. И там на склоне лет Ларина знакомится... Ни за что не догадаетесь!
- Со Скарлетт О'Хара.
- Нет, вы все-таки читали мое интервью! – огорчился Жарынин.
- Ну конечно же читал. Рассказывайте лучше, как просили деньги!
- Ладно. Слушайте! Я долго добивался аудиенции и наконец добился. В обширной приемной, увешанной мазней этого идиота, забыл, как его зовут... Он рисует только глазастые вагины и зубастые задницы...
- Гузкин?
- Ну почему сразу – Гузкин? Друзкин рисует бородатых детей с волосатыми ногами. Ну, не важно... В общем, за секретарским столом вместо привычной девушки сидел молодой человек с влажной кучерявой прической и взглядом испорченного пионера. Зато кофе подавала роскошная референтка с грудью, буквально выпадавшей из строгого офисного костюма, будто мяч из рук пьяного гандболиста. До сих пор не могу себе простить, что не взял телефончик...
- Вы снова отклонились!
- Да! Итак, минута в минуту, как и договаривались, я вошел в кабинет, по сравнению с которым кабинеты коммунистических бонз, а к ним-то я хаживал, ох хаживал! – это жалкие собачьи конурки. Чиновница, одетая, кстати, с большим вкусом, была в той женской поре, когда возраст определяется уже не годами, а тем, сколько нужно времени провести у косметолога, чтобы показаться на людях. Она вышла мне навстречу и подала руку. А руки у нее были уже немолодые. Руки выдают женщину сразу! Вы обращали внимание, что эта немолодость особенно заметна почему-то, когда на пальцах много колец? Целуя руку, я даже оцарапал подбородок об особенно крупный бриллиант. Мы сели... Объяснять ей, кто я, не пришлось: «Ах, ну как же, как же! “Двое в плавнях”!..» Я был польщен и, как птица Гамаюн, запел о возрождении российского кино, о том, что, соединив Татьяну и Скарлетт, мы выведем наше искусство на общемировой уровень! Она слушала, кивала, но смотрела на меня как-то странно, с эдакой ностальгической теплотой и даже лукавством. Я заливался об исторической миссии российского кино, а она вдруг, отхлебнув минеральной воды, сделала губами такое движение, словно слизывает с них оставшиеся капли, как Роми Шнайдер в «Старом ружье». Помните? Ну как же! В семидесятые, когда фильм показали в СССР, многие наши прелестницы переняли это восхитительное губодвижение. И тут я чуть не поперхнулся шоколадной конфетой с ромом,

потому что вспомнил все и сразу... Ну как, как я мог не узнать эту женщину!? Назовем ее Вета...

– Вета уже была, – поправил Кокотов.

– Когда?

– Когда выходила замуж за итальянца.

– Да, в самом деле! У вас хорошая память. Некоторым хорошая память заменяет ум.

– Вы так считаете? – обиделся писатель.

– Так считал Сен-Жон Перс. Хорошо. Назовем ее Белла. Как я мог не узнать Беллу?! – Жарынин заломил руки с такой силой, что хрустнули суставы. – Итак: конец застоя, я в ореоле мученической подпольной славы, которую в ту пору могли дать только запрет и гонения. Боже, счастлив художник, хоть недолго побывавший под запретом! Единственное, о чем сожалею, – что не попал под суд, как Бродский, за тунеядство. Я бы не сидел сегодня здесь с вами, Кокотов, я бы попирали тысячедолларовыми штиблетами каннскую фестивальную дорожку! Но увы, увы, я имел глупость, дабы не потерять трудовой стаж, оформиться лектором в общество «Знание». Нет, вы подумайте – трудовой стаж! Понадобился гений Бродского, чтобы предвидеть: трудовой стаж – ничто, а гонимость – все! Гонимость, а не талант, и тем более не трудовой стаж, – вот что дает настоящую славу. В этом великое Оськино открытие! А стихи его читать невозможно. Это, в сущности, рифмованный каталог.

– Не согласен! – возмутился Кокотов.

– Да? Тогда почитайте мне Бродского наизусть!

– Пожалуйста:

*Ни страны, ни погоста  
Не хочу выбирать.  
На Васильевский остров  
Я приду умирать!<sup>1</sup>*

– Это все?

– Все, – покраснел Андрей Львович.

– Одна строфа. И та обманная. Умер-то он в Венеции.

– Вы просто ему завидуете!

– Конечно, завидую: он догадался наплевать на трудовой стаж, а я не догадался. И все-таки после скандала с «Плавнями» я был упоительно гоним. На интеллигентных кухнях Москвы, послушав «Голос Америки», радостно шептались, что мой арест – дело решенное. Меня звали в гости, будто я достопримечательность, угощали мной, словно деликатесом. А когда я смыл свой позор, тут уж началась буквальная вакханалия...

– Какой позор? – встрепнулся писатель.

– Это не важно. Но поверьте, женщины смотрели на меня примерно так же, как курсистки девятнадцатого века – на патлатого народовольца, собиравшегося наутро метнуть бомбу в генерал-губернатора. Разумеется, дам, жаждавших скрасить мои последние дни на свободе, было хоть отбавляй. Я даже начал привередничать, чваниться, старался избегать, скажем, двух блондинок подряд...

– А вот это вы фантазируете! – возмутился Кокотов, остро ощутив тоску своего безбрачного воздержания.

– Нет, мой одинокий друг, не фантазирую, а вспоминаю с трепетом! И вот как-то раз меня пригласили в мастерскую к одному архитектору. Он проектировал типовые дома культуры для совхозов-миллионеров, но при этом мастерил втихаря какую-то вращающуюся хрень будущего

---

<sup>1</sup> Бродский И. «Стансы».

и о Корбюзье говорил так, словно тот всего лишь пьющий сосед по лестничной клетке. Кстати, сейчас он строит особняки новым русским, и, наверное, потому эти сооружения так похожи на совхозные клубы. В мастерской собралось несколько пар – и ни одной одинокой дамы. Я даже с облегчением подумал, что нынешнюю ночь смогу наконец отоспаться. Но тут вдруг вышел жуткий семейный скандал. Начался он как невинный литературный спор. И устроила эту свару Белла. Она схлестнулась со своим спутником, пусть он будет Владимиром, из-за того, кто выше – Блок или Окуджава. Судя по короткой стрижке и неловкому синему костюму, Володя был советским офицером и, конечно, бился за Блока, даже прочитал наизусть до середины «Скифов». Белла подняла его на смех и объявила, что народный поэт тот, кого поют. Блока-то не поют... Ее поддержали и хором ударили:

*Ах, Надя, Наденька,  
Мне б за двугривенный  
В любую сторону  
Твоей души!<sup>2</sup>*

Володя растерялся, а Белла презрительно процедила, что только непроходимое ничтожество может усомниться в превосходстве Окуджавы над Блоком. Офицер вспылил, объявил, что между ними все кончено, и ушел, хлопнув дверью так, что обрушился макет Целиноградского народного театра. Интеллигентная компания облегченно вздохнула, радуясь, что легко отделалась от этого военнотрудового мужлана. Честно говоря, в споре я молчаливо был на стороне офицера. По совести, мне эти Булатовы гитарные дребезжалки никогда особенно не нравились. Но история рассудила иначе: сравните жалкого истуканчика Блока, притулившегося в скверике возле Малой Бронной, с роскошным памятником Окуджаве на Старом Арбате. Вам все понятно?

– Нет, не все!

– Что непонятно?

– Почему вы промолчали?

– А потому что Белла была хороша! Ах, как хороша! Длинные светлые волосы, черный свитер, облегающий высокую нарастаченную грудь, короткая черная юбка, из-под которой произрастали совершенно тропические ноги! Ну разве можно спорить с такой женщиной? Она, оставшись одна, сразу как-то призывно погрузилась. Я, конечно, бросился утешать. Мы разговаривали. Оказалось, девушка учится в Институте культуры на библиотечном отделении. Сбежавшее «ничтожество» – ее жених, разумеется, теперь уже бывший. А ведь страшно подумать, твердила она, через две недели должна была состояться свадьба! Даже кольца купили. Я предложил выпить за судьбу. Отхлебнув рислинга, Белла вдруг облизнула губы прямо как Роми Шнайдер. И я вспыхнул. Мы сбежали от архитектора, гуляли по ночной заснеженной Москве, страстно целуясь в каждой встречной телефонной будке, а потом пошли ко мне – греться. Мне даже не пришлось особенно настаивать: девушка просто жаждала отомстить несостоявшемуся мужу за его подозрительную любовь к Блоку. По-человечески это понятно, но Белла оказалась настолько злопамятна, что весь следующий день мы провели в постели. Бывали минуты, когда казалось – я уже бессилен перед ее неотомимыми поисками новизны, но она делала глоток вина, по-шнайдеровски облизывала губы, и у меня снова открывалось не знаю уж какое по счету дыхание! В ту ночь, потрясаясь ею, я подумал: если Белла не зареет свой женский талант в прокрустовом брачном ложе, а использует с прицельным умом, то сможет сделать блестящую карьеру. Тем более что даже в постели она уже тогда стремилась занять командное положение...

---

<sup>2</sup> Окуджава Б. «Ах, Надя, Наденька».

Я изобразил на лице восторг узнавания:

«Боже мой, Белла Викторовна... Сколько лет, сколько зим...»

«Да, Димочка... А какая в тот год была зима! Теперь таких не бывает!» – вздохнула она.

«Как семья?» – осторожно спросил я ее.

«Нормально. Володя – генерал. Пенсионер. Сидит на даче».

– Какой Володя? Значит, они помирились? – изумился доверчивый Кокотов.

– Разумеется! Я позвонил ей ровно через месяц после нашего безумия.

– Почему через месяц?

– Так она просила. Сказала: должна осознать, что с нами произошло. Я позвонил, и Белла сообщила, что свадьбу сыграли в назначенный день и что она очень счастлива!

– Так значит... – начал догадываться Андрей Львович.

– Ну конечно, мой наивный соавтор, всю эту ссору она специально разыграла, чтобы поближе познакомиться со мной: не каждый день случается заполучить в объятия запрещенного режиссера! Я так понимаю, она просто решила сделать себе подарок, прежде чем выйти за своего Володю, верного и надежного, как советская противоракетная оборона. В общем, мы посмеялись с Беллой Викторовной над тем давним приключением и обменялись особенными взглядами... Мол, если бы все можно было вернуть назад, то, конечно, мы не расстались бы, нет, не расстались бы, а пробезумствовали по крайней мере еще одну ночь... Прощаясь, она сказала, что даст мне денег на фильм, завизировала мою заявку, даже позвонила в профильное управление, чтобы зарезервировали средства.

– Ну и?

– Вот вам и «ну и», – махнул рукой Жарынин. – Вспомните: что говорил о судьбе Сен-Жон Перс?

– Не помню... – смутился писатель.

– А вот что: судьба подобна вредной соседке по коммуналке, то и дело подсыпаящей в твою кастрюлю dust...

– Сен-Жон Перс не мог этого говорить.

– Почему же?

– Он никогда не жил в коммуналке.

– Вы, Кокотов, мыслите не как художник, а как обыватель. Боюсь, нам трудно будет работать вместе.

– Я могу вернуться в Москву! У меня обследование.

– Ладно, не злитесь! Лучше посочувствуйте мне! Я нашел отличного соавтора, молодого, талантливого. И буквально за неделю до того, как должны были утвердить смету фильма на коллегии Минкульта, произошла катастрофа: Беллу ограбили...

– И убили? – похолодел Андрей Львович.

– Лучше бы убили... – вздохнул Жарынин. – Пользуясь ее светлой памятью, я бы сумел вырвать деньги на картину. Нет, увы, не убили... Когда она была в заграничной командировке, а Володя на даче, воры зашли в их городскую квартиру и вычистили все. Белла вернулась и тут же подала в милицию заявление, приложив список похищенного – в основном ювелирных изделий. Кто-то из ментов слил информацию. «КоммивояжерЪ», опубликовавший список украденного, вышел в тот день с восемью дополнительными полосами, где перечислялись похищенные сокровища. Начался скандал: мол, откуда столько «ювелирки» у скромной чиновницы? Пошли разоблачительные статьи. Одна, помню, называлась «Грязное брюльё Беллы Ивановой». Неплохо, да? И ей пришлось уйти в отставку. Продав цацки, что были на ней во время командировки, она купила небольшое поместье на Корсике и навсегда уехала из проклятой России. Больше я ее не видел. И денег, конечно, никаких не получил. Вот такая грустная история, соавтор...

## Глава 10

### Три позы Казановы

– Ну, если мы соавторы, нам хорошо бы вступить... э-э... в договорные отношения, – заметил Кокотов с легким оттенком сквалыжности.

– Вступим... Потом... Если захотите!

Жарынин встал и в задумчивости обошел номер, полюбовался заоконным пейзажем, заглянул в ванную и, заметив географическую шторку, завистливо цокнул языком:

– Какой вы, однако, Андрей Львович, экзот! Уступите занавесочку! Утешьте старика!

– Вы серьезно?

– Абсолютно.

– Берите!

– Спасибо. Я горничной скажу, чтобы перевесила. Вы расположились?

– Нет еще... не совсем...

– Потом расположитесь. Теперь же давайте работать! – И с ленинской картавинкой добавил: – Чер-товски хочется поработать!

– Давайте! Но знаете, я никогда еще не писал сценариев... Погодите, я сейчас ноутбук включу.

– Не надо! До ноутбука дойдет не скоро, если вообще дойдет... Работать будем у меня. Я курящий. Пошли!

Андрей Львович похолодел. Дело в том, что вечер, вдохновленный разговором с Жарыниным, он позвонил Мотыгину в «Вандерфогель» и отказался от аванса за очередной роман из серии «Лабиринты страсти», к которому уже и название придумал – «Три позы Казановы». Сюжет вкратце такой: старый кавалергард, прославленный ловелас Серебряного века, чудом уцелевший в огне Гражданской войны и превратившийся с годами в скромного советского пенсионера, умирая, решает передать по наследству свою великую сексуальную тайну внуку Вене, редкому разгильдяю, троечнику и рохле. Тайну эту, между прочим, их везучему предку проиграл в карты сам Казанова, о чем много шептались в свете, и отголоски этих пересудов есть, если вчитаться, даже в ахматовской «Поэме без героя», не говоря уж о брюсовском «Огненном ангеле». Суть вот в чем: Казанова знал три сексуальные позы, которые при строго определенном чередовании ввергали женщину в неземное блаженство и навсегда привязывали к мужчине, буквально – порабощали. По секрету доносили: когда кавалергард отправлялся со своим полком на германский фронт, толпы безутешных красавиц, рыдая, стная, ломая руки и теряя бриллианты, бежали по шпалам за воинским эшелоном почти до Вязьмы...

Однако, умирая, склеротический старик успел сообщить внуку только две позы и отошел в лучший мир. Похоронив деда, Венья впал в отчаяние. Он был безнадежно влюблен в неприступную, как сопромат, однокурсницу Ангелину, не обращавшую на невзрачного троечника никакого внимания. Оставалось одно: попытаться самостоятельно разгадать недостающий элемент тайного трехчлена Казановы. Для начала студент купил за две стипендии на Кузнецком Мосту древний учебник любви «Цветок персика», тайно привезенный кем-то из-за границы. Книга была на английском языке – и скрепя сердце парень сел за словари и грамматику. Некоторые позы, изображенные в книге, оказались настолько хитросплетенными и гимнастическими, что пришлось всерьез заняться физкультурой и даже спортом.

Дальше – больше. Чтобы вовлечь какую-нибудь приятную женщину в свой предосудительный эксперимент, надо было для начала ей хотя бы понравиться. Ну в самом деле, ведь не подкаатишь к милой незнакомке со словами: «Гражданочка, мой дед, старый хрыч, умирая, оставил мне две трети сексуальной тайны Казановы. Есть предложение: вместе и дружно...» В следующую минуту она в лучшем случае звонко бьет нахала по лицу, в худшем – зовет мили-

ционер, а тот – психиатра. В результате Веня был вынужден обратить пристальное внимание на свою внешность: стрижку, одежду, манеры. Он даже записался в школу танцев. Ну и, разумеется, расправился с прыщами на лице с помощью настойки чистотела.

А тут как раз подоспел Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве, во время которого, как известно, целомудренное советское общество значительно раздвинуло свои эротические горизонты. Достаточно вспомнить многочисленных и разноцветных «детей фестиваля», родившихся девять месяцев спустя. Кокотов был уверен: эта подернутая ностальгической дымкой советская ретроспекция придаст сюжету особенный и пикантный шик.

Итак, со всех континентов в столицу первого в мире государства рабочих и крестьян слетелись тысячи красивых девушек всех, как говорится, упоительных национальных особенностей и потрясающих расовых различий. Именно этот праздник молодого духа и юной плоти как нельзя лучше подходил для разгадки тайны великого сластолюбца Казановы. Надо заметить, Веня хорошо подготовился и свой шанс упускать не собирался. Элегантный, спортивный, обходительный, свободно владеющий английским языком, сорока пятью видами поцелуев и семьдесятю двумя сексуальными позами, он сразу привлек к себе внимание раскрепощенных иностранных дев. После первого же вечера интернациональной дружбы Веня ушел гулять по ночной Москве с француженкой алжирского происхождения Аннет, предварительно назначив на следующий день свидание Джоан, американке из Оклахома-Сити, штат Оклахома. А на послезавтра он сговорился с миниатюрной, как фарфоровая гейша, японочкой Тохито...

Однако не успел Вениамин уединиться с Аннет на укромной скамеечке Нескучного сада и подарить ей поцелуй, называющийся «Чайка, открывающая раковину моллюска», как двое крепких мужчин, одетых в модные, но совершенно одинаковые тенниски, подошли и попросили огоньку. Поскольку наш герой табаком не баловался, ему пришлось предъявить уполномоченным курильщика студенческий билет и проследовать с ними куда следует. Там, где следовало, наследнику Казановы разъяснили, что за попытку вовлечь иностранную подданную в интимные отношения ему грозят большие неприятности, вплоть до тюрьмы. Ведь именно так, в объятиях красоток, и вербуют легковверных советских граждан западные разведки. Но поскольку зайти далеко студент не успел, для первого раза органы ограничатся минимальным наказанием – письмом в институт.

Персональное дело несчастного Вени разбирали на закрытом комсомольском собрании. Поначалу все шло к исключению из рядов, а следовательно, к окончательной жизненной катастрофе. Оскорбленные однокурсники жаждали его крови. Ишь ты! Тут пруд пруди своих нецелованных соратниц по борьбе за знания, а его, гада, на импорт потянуло! Однокурсники же озверели от зависти – ведь никто из них не отважился даже близко подойти к капиталистическим прелестницам. Декан факультета, в свое время так и не решившийся убежать от постылой жены к горячо любимой аспирантке, тоже, хмурясь, требовал самых суровых мер.

И вдруг, к всеобщему изумлению, за аморального юношу страстно вступилась строгая Ангелина, та самая отличница, в которую наш герой был безнадежно влюблен, покуда не впал в казановщину. Мудрая девица заявила, что исключить из рядов – значит расписаться в полной идейно-педагогической беспомощности коллектива, и высказала готовность взять оступившегося товарища на поруки. При этом она смотрела на Веню такими глазами, что он сразу понял: любим, и любим горячо! А как, в самом деле, не увлечься парнем – спортивным, подтянутым, обходительным, аккуратным, модно одетым, танцующим и свободно говорящим по-английски? Разве таких много?

Взяв Веню на поруки, Ангелина его уже не выпустила. Вскоре молодые люди зарегистрировались в загсе, устроив в студенческом общежитии грандиозные танцы под патефон. Прошли годы. Обглоданный Советский Союз называется теперь Россией, а КГБ переталдычили в ФСБ. Но Вениамин Сергеевич и Ангелина Михайловна до сих пор вместе, а судя по тому, как они

смотрели друг на друга на золотой свадьбе, именно с законной супругой счастливицу Вене удалось-таки найти третью позу Казановы. Или не удалось... Разве это важно, когда любишь?

Такая концовка, по мнению Андрея Львовича, должна была очень понравиться домохозяйкам и обеспечить книжке коммерческий успех.

## Глава 11

### Гипсовый трубач

...Номер Жарынина почти ничем не отличался от кокотовского: даже из санузла доносилось то же неисправное журчание. Лишь в серванте виднелись остатки другого сервиза – с маками и телевизор был поменьше да поновей. Кроме того, в комнате царил совершенно иной – пряно-благородный табачный – запах. На письменном столе лежала пачка табака с изображением усатого курильщика в тельняшке, а рядом, на особой подставочке, выстроились разнокалиберные трубки с прямыми или изогнутыми мундштуками. Их черные, коричневые, янтарные чубуки напоминали крошечные мортиры, наставившие на гостя закопченные жерла. В щель между стеной и батареей отопления режиссер вставил наискосок свою трость, накиннув на нее, как на вешалку, бархатный берет с перышком, которое чуть заметно ерошилось от ходившего по комнате сквозняка.

Жарынин сел во вращающееся кресло и разрешающе кивнул Кокотову на истертый диванчик, затем шумно вскрыл пачку и шепотью извлек оттуда табак, похожий на клок спутанных золотистых волос. Некоторое время он задумчиво разглядывал трубки и наконец избрал одну – с искривленным, как знак вопроса, мундштуком и словно выточенным из древесного мрамора палевым чубуком, покрытым изысканными темными прожилками.

– Вы знаете, как в прежние времена обкуривали настоящую трубку?

– Нет, – ответил Андрей Львович, наблюдая, как соавтор втрамбовывает золотые прядки в закопченное жерло специальным металлическим пестиком.

– Новую трубку на год отдавали моряку, отправлявшемуся в плавание. Когда он возвращался, трубку у него забирали и заменяли мундштук. Только тогда настоящий ценитель начинал ею пользоваться! Это не напоминает вам мимесис?

– Что?

– Отношение искусства к действительности.

– По-моему, сравнение натянутое, – с раздражением отозвался Кокотов.

– Возможно! – согласился Жарынин, занятый тем, что распалаял табак при помощи специальной зажигалки, выбрасывавшей пламя не вверх, а вбок, точно автоген.

Комната стала наполняться густым, но не слоистым, как от сигарет, а клубящимся ароматным туманом. Режиссер сильно, так что западали щеки и шевелилась лысина, несколько раз втянул в себя дым, потом с облегчением выпустил длинную струю и, наслаждаясь, откинулся в кресле:

– Ну-с, а теперь разомнем тему! Расскажите-ка мне, дорогой соавтор, о чем, собственно, ваш рассказ?

– Но вы же читали!

– Разумеется, читал. Иначе мы бы с вами сейчас здесь не сидели. Я просто хочу от вас в двух словах услышать, что в вашем рассказе происходит.

– В каком смысле?

– В прямом. Кто куда пошел, что сказал, кого ударил или даже лучше – убил... Ну-с!

– Никто никого не убивал. Вы же читали! Что вы надо мной изгиляетесь?

– А знаете, почему вы так занервничали? – Жарынин пыхнул трубкой. – Подсознательно вы понимаете: в вашем рассказе ровным счетом ничего не происходит. Нет действия. В литературе это иногда допустимо. В кино – никогда: кино без действия – как женская грудь без силикона. Не стоит!

– Зачем же вы тогда звонили? Зачем сюда привезли?! – истерически-спокойно спросил Кокотов.

– Я уже объяснял: мне понравился ваш «Гипсовый трубач». Ну-с, а теперь давайте посмотрим, что из этого можно сделать!

– А что вы хотите сделать из моего рассказа?

– Успокойтесь! Всего-навсего кино...

Жарынин положил трубку на специальную деревянную держательницу, отдаленно напоминающую сильно уменьшенную подставку для отыгранных бильярдных шаров, нагнулся, придвинул к себе адидасовскую сумку и, порывшись, вынул оттуда затрепанный номер журнала «Железный век»: на обложке было изображено человеческое сердце, склепанное из листовой стали. Потом он снова взял в руку трубку и, попыхивая, стал искать нужную страницу. Нашел, разгладил, извлек из нагрудного кармана очки с узенькими, словно предназначенными для китайца, стеклышками, нацепил их на самый кончик носа и произнес:

– Что ж, давайте освежаем вашего «Трубача»!

– Освежим? – поправил Кокотов.

– Ну, это уж как получится. Может, сами почитаете?

– Нет, уж лучше вы...

– Ладно-с...

Водя по строчкам дымящимся мундштуком, как Сталин, он начал читать рассказ с той вдумчивой медлительностью, какую нарочно напускают на себя актеры, вынужденные произносить в эфире малознакомый текст:

– «Каждый год, в конце августа, а точнее, в последнее воскресенье месяца, Львов... – в этом месте Жарынин остановился, вздохнул, пожевал губами и, укоризненно глянув на автора поверх китайчатых очков, продолжил чтение: – ...Львов достает с антресолей корзину, резиновые сапоги, старый плащ и такую же ветхую дерматиновую кепку, которую носил еще в студенчестве. С вечера готовит он себе и еду: три бутерброда, сложенных как бы в один, несколько сваренных вкрутую яиц, большой огурец домашней засолки, очищенную луковку и соль, насыпанную в бумажный кулечек...» Когда, сказали, обед? – оторвавшись от страницы, вдруг спросил режиссер.

– С четырнадцати до пятнадцати, – с раздражением отозвался Кокотов, у которого от милых строчек родного текста пошла по телу теплая радость.

– Странно. Раньше было с тринадцати до пятнадцати... Ну, не важно. Продолжим! «...В термос Львов наливает крепкий чай с лимоном и без сахара: боится раннего диабета, погубившего отца. Потом ставит будильник на четыре и, накапав в рюмку валерьянки, ложится спать...

Вскакивает он при первом дребезжании будильника и старается поскорей его прихлопнуть, но жена обычно все-таки вскидывается, и Львов, смущенно поймав на себе ее бессмысленный спросонья взгляд, тихонько встает и, неся тапочки в руках, прокрадывается через проходную комнату, где спят дочь с зятем, на кухню. Там он наскоро пьет растворимый кофе с овсяным печеньем, одевается и, тихохонько шелкнув замком, покидает квартиру». «С овсяным печеньем» – это хорошо! – поощрил автора Жарынин, дымя трубкой, как старинный пароход. – Прямо видишь это ваше овсяное печенье. Деталь для прозы – все! Для кино – тьфу! Поняли?

– А Тарковский?

– У него не детали, а символы, – сурово поправил соавтора режиссер. – И вообще он был занудой. Студентов ВГИКа за прогул занятий я бы приговаривал к принудительному просмотру «Ностальгии». Вы читали его дневники?

– Нет.

– Почитайте! Тщеславный мизантроп. Прав, ох прав старый ворчун Сен-Жон Перс: «Лучше пусть мне поставят надгробье из дерьма, нежели я оставлю потомкам мои дневники!» – Скорбно затянувшись дымом, Жарынин продолжил чтение: – «...На улице светло от фонарей, хотя ночь уже начинает напитываться утренней прохладой. Львов, определив корзинку на сгиб локтя, быстрым шагом идет к платформе, что в двадцати минутах ходьбы от дома. Холодно,

изо рта идет легкий парок: все-таки конец августа. На станции, несмотря на ранний час, оживленно: толпятся люди, одетые с той же, что и Львов, страннической простотой и с обязательными корзинами в руках. Они высматривают мелькающий меж столбами прожекторный свет желанной электрички. Львов, второпях забыв сдачу и суетливо вернувшись за ней, покупает билет до Ступино и едва успевает протиснуться в смыкающиеся с шипением двери. Мест свободных много, он садится к окну и, прислонившись к прохладному стеклу, – едет. Через некоторое время ему начинает казаться, будто поезд – это бур, пробивающийся сквозь огромный твердый кристалл, темный с краев, но становящийся все светлей и прозрачней к сердцевине, в которой, очевидно, и прячется нерастраченное, яркое утреннее солнце...» Неплохой образ! – похвалил Жарынин, прервавшись и весело посмотрев на соавтора поверх узких очков. – Хотя в целом пишете вы нудновато, с излишней бахромой! Хотя, впрочем, Сен-Жон Перс уверял, что искусство – это именно бахрома жизни...

– Посмотрим еще, какой вы фильм снимете! – покраснев, огрызнулся Кокотов.

– Посмотрим, – согласился режиссер и продолжил: – «...На платформу Ступино выходит десяток людей – в руках у них корзины, ведра, большие целлофановые пакеты. Львов с лукавым терпением опытного грибника дожидается, пока они скроются в деревьях, а потом по ведомой ему узкой тропке, обойдя поселок, углубляется в лес. Хотя солнце уже чуть пришло над горизонтом, вокруг еще сумеречно – листва и стволы кажутся сероватыми, точно в черно-белом фильме. Львову нравится утренний предосенний лес с его влажным шуршанием листьев, запахом прели и птичьим безмолвием.

Прошагав минут двадцать и ощутив, как от росы брюки намочили до колен, он достигает наконец первой заветной полянки. Там, там – в мшистом треугольнике, между пожелтевшей березой и двумя елочками, его всегда ждет удача. Вот и теперь большой белый гриб на высокой ножке стоит вызывающе бесшабашно. Наверное, среди грибов, как и среди людей, тоже есть смельчаки, которые первыми поднимаются в атаку и, погибая, отводят опасность от других...»

В этом месте Кокотов осторожно глянул на Жарынина, ища одобрения: он считал это рассуждение о грибном героизме чрезвычайно удачным и в какой-то мере метафизическим. Дмитрий Антонович посмотрел на автора поверх очков, и глаза их встретились. Во взгляде режиссера он все-таки нашел одобрение, но какое-то снисходительное, словно Андрей Львович – ребенок, впервые наконец-то прицельно сходящий по-маленькому. Тонко улыбаясь, киношник пыхнул трубкой и вернулся к рассказу:

– «...Срезав смельчака ножом, Львов внимательно оглядывается, даже приседает для лучшего обзора. Он никогда не уходит сразу, но тщательно обшаривает все вокруг, заглядывая под каждую еловую лапу, и, как правило, находит еще два-три трусливо затаившихся бородача. “Храбрец умирает один раз, а трус тысячу!” – вслух бормочет он, обскребывая ножом землю с толстых ножек. Потом Львов идет глубже в лес, сверяясь с памятными приметами: оврагом, поросшим осинами, ельником, становящимся год от года все выше и гуще, огромным тракторным колесом, неведь откуда взявшимся в чащобе. Попутно он заглядывает в два-три места: на кочках подсохшего болотца собирает белесые подберезовики, в основном, правда, червивые, привычно подхватывает пытающихся перебежать просеку красноголовиков с крапчатыми длинными ножками. А в маленьких квадратных овражках (это были сглаженные следы военных землянок) Львов собирает чернушки. Их много, но они скрыты сухой листвой, поэтому искать их надо, ползая на коленях и разгребая руками душистые предосенние вороха с белыми мохеровыми нитями потревоженных грибниц. Точно ищешь потерянную вещь...»

Тут послышались проклятые «Валькирии», вызвав у Кокотова настоящий прилив ярости. Вот именно так звереет записной меломан, если в Большом зале консерватории на коде Патетической симфонии в кармане у смущенного соседа, который к тому же хлопал, как лох, между частями, мобильная сволочь заверещит вдруг «Мурку». Однако, нисколько не смущаясь, Жарынин вынул трубку из кармана и откинул черепаховую крышечку:

– Ах, это все-таки ты?! Не-ет, крысунчик, я уже в Токио. Теперь только через две недели... Целую твой бессовестный ротик! – Закончив разговор, режиссер как ни в чем не бывало продолжил: – «...Последнее заветное место его грибных угодий – огромное поваленное обомшелое дерево, в эту пору обсыпанное мясистыми опятами. Однако сегодня Львову не везет: наполовину вросший в землю ствол покрыт бесчисленными ножками, оставшимися от срезанных шляпок, культы завялились на кончиках и стали похожи на бородавчатую шкуру допотопного чудовища. Но наш герой горюет недолго, смотрит вверх – там, на высоте трех метров, на березе растут большие, белесые от спорового порошка опята. Он срезает длинную лещину, очищает от тонких веточек, чтобы получилось как бы удилище, и, размахнувшись, со свистом, ловко, в несколько ударов сбивает эти высокоствольные грибы. Корзина почти полна, и можно возвращаться. Но Львов почему-то идет дальше. Прошагав с километр, он оказывается у серого бетонного забора, украшенного кое-где любовными признаниями, а также, понятно, нехорошими надписями. Некоторые секции от старости выпали из общего ряда и лежали тут же, покрытые зеленым лишаем. За оградой был старенький, заброшенный пионерский лагерь. Деревянные корпуса, похожие на бараки, выкрашенные когда-то в веселенький желтый цвет, сиротливо стояли под почерневшими, провалившимися кое-где шиферными крышами. Окна пустовали: рамы давно уже выломали для близлежащего садово-огородного строительства...»

В этом месте Кокотов кашлянул, ожидая похвалы за то, как он изящно перевел повествование из настоящего в прошедшее время, подчеркивая таким образом, что герой попал в свое прошлое. Но Жарынин ничего такого не заметил и продолжал читать:

– «...Линейка для торжественных построений отдыхающей пионерии, когда-то ухоженная, посыпанная гравием, обсаженная цветами и пузыреплодником, заросла молоденькими березками, крапивой, полынью, лиловой недотрогой... От трибуны (к ней, чеканя шаг, шли некогда председатели отрядов, чтобы звонкими голосами отдать рапорт) осталось только бетонное основание: кованые перила унесли. Металлический флашток выржавел и покосился. Тросик, предназначенный для поднятия флага, лопнув, завился, точно усы железного хмеля.

Дальше, за линейкой, начиналась аллея пионеров-героев. От нее сохранились лишь сваренные из уголков ржавые перекошенные рамы. В одной уцелел кусок фанеры с остатком безусого лица, кажется, юного партизана Марата Казея, в неравном бою подорвавшего себя вместе с фашистами... А в самом конце аллеи, перед буйными зарослями сирени, окружавшими хоздвор, словно на страже этого затерянного пионерского мира стояли друг против друга гипсовые барабанщик и трубач». Минуточку! – очнулся Жарынин. – А вы точно знаете, что эти фигуры делались из гипса? По-моему, из алебаstra...

– Исключительно из гипса! – решительно возразил Кокотов, краснея от неуверенности.

– Ну может быть... может быть... В конце концов, теперь это не важно. Меня беспокоит другое...

– Что же?

– Скажу. Потом. Кстати, сдвиг во времени вы тонко прописали.

– Вы заметили?

– Разумеется! Читайте теперь вы! У меня в горле запершило от ваших метафор. Булгаков писал проще!

– А Набоков?

– Читайте, читайте, юный набоковец!

Польщенный и обиженный одновременно, автор забрал у режиссера журнал, нашел нужное место и продолжил:

– «...Точнее сказать, когда-то они были барабанщиком и трубачом. От первого остались ноги в гетрах и половина барабана, повисшего на согнувшейся проволоочной арматуре. Туловище отсутствовало. Кому оно могло понадобиться и куда его унесли? А вот трубач оказался

поцелее: у него лишь откололась левая рука, но кисть, упертая в бок, сохранилась. Был также отломан мундштук горна, и выходило, что трубач дул в пространство. Остальное – и задорное курносое лицо, и гипсовый галстук, и короткие штанишки – все уцелело. Только побелка давно сошла, и горнист стал синюшного цвета, точно давний утопленник...»

– Все-таки алебастр! – вздохнул Жарынин. – Текст всегда честнее автора.

Кокотов сделал вид, что реплики не заметил.

– «...Львов поставил корзину и уселся возле постаментика. Ровно, как море, шумел лес. Колюче припекало осеннее солнце. В небе плыли крепко сбитые кучевые облака. И вдруг все его существо наполнилось той непередаваемой сладкой болью, которая охватывает нас лишь при посещении давних жизненных мест и которая, наверное, служит своеобразным, дарованным свыше наркотом, позволяющим сердцу не разорваться от сознания жестокой необратимости времени, которое уносит все самое лучшее, самое дорогое в ледяной океан утрат...»

– Три «которых»... – ехидно подсчитал режиссер.

– Что? – не понял Кокотов, еще находясь под впечатлением метафизической мощи собственного рассказа. Его страшно ранил этот внезапный обрыв, ведь он почти вошел в ритм и даже покачивался по-восточному, в такт своей размеренной прозе.

– Слово «который» у вас в одном предложении использовано трижды!

– Ну и что! У Толстого бывало и по четыре, и по пять раз...

– А если бы Лев Николаевич убил-таки Софью Андреевну, вы бы тоже свою жену убили?

– При чем тут Софья Андреевна? – оторопел автор, с ужасом осознав: если бы великий писатель сделал это, то, возможно, и он скормил бы вероломную Веронику пираньям.

– Читайте дальше, Кьеркегор Сартрович!

Андрей Львович вытер пот, выступивший на лбу, и продолжил:

– «...Львов достал свой нехитрый завтрак, порезал соленый огурец и луковку, разъял успевший слежаться многослойный бутерброд, разбил о коленку трубача яйцо и стал жевать, подливая себе чай из термоса. В колпачок, служивший стаканом, выпал кружок измученного лимона...»

В этом месте Жарынин вдруг посмотрел на часы:

– Чуть обед тут с вами не проболтали!

– Осталось немножко! – взмолился писатель.

– На войне из-за обеда даже перестрелку прекращали. Вы знаете?

– Слышал.

– Мойте руки! Никуда ваш «Трубач» не денется. Там у вас ведь дальше про любовь?

– Про любовь, – кивнул Андрей Львович.

– А про любовь лучше на сытый желудок. Тяпнем перед обедом? У меня перцовочка. «Кристалл»!

– Я не пью, – отрезал оскорбленный Кокотов.

– Совсем?

– Во время работы.

– Напрасно. Ну, как знаете...

С этими словами Жарынин достал из холодильника бутылку и бугорчатый брусок сырокопченой колбасы. Затем он смахнул свой берет с трости, вынул ее из-за батареи и, потянув за ручку в виде серебряной пумы, извлек, словно из ножен, длинный и узкий клинок. Судя по тому, как легко и тонко режиссер порезал твердую колбасу, лезвие было очень острым. Тщательно вытерев стилет носовым платком и задвинув его в трость, мэтр взялся за бутылку, уже успевшую запотеть. Он несколько раз, точно обжигаясь холодом, перебросил ее с ладони на ладонь, затем умело и хрустко свернул винтовую пробку.

В комнате бесшабашно запахло пряной водкой.

– Ну? – Жарынин ободряюще посмотрел на соавтора.

– Н-наливайте! – махнул рукой автор «Полыньи счастья»: ему вдруг до челюстной судороги захотелось выпить.

## Глава 12

### Хлеб да каша – пища наша

Чтобы попасть из жилого корпуса в столовую, нужно было спуститься на первый этаж и пройти через «зимний сад» – так обитатели «Ипокренина» именовали десятиметровый застекленный переход, заставленный кадками с рослой декоративной зеленью. Гордостью этой мимоходной оранжереи был выложенный булыжником лягушатник, где вопреки названию обитала одна лишь черепаха – конечно, по имени Тортилла. По словам Жарынина, осторожная рептилия почти никогда не высывалась из воды, делая исключение только для великой Веры Ласунской.

– Она разве жива? – удивился Кокотов.

– Можете сами ее об этом спросить!

Вторая достопримечательность «зимнего сада» – кактусы стояли в три яруса на специальном возвышении. Каких тут только не было! У одних колючки напоминали жесткий белевый ворс, другие вполне могли одолжить свои иглы дикобразу. Но цвел лишь один – плоский трехлопастный кактус, выпроставший мятый фиолетовый цветок. Кокотов залюбовался и отстал, а когда нагнал режиссера, тот уже беседовал с коренастым усачом, одетым в белый халат и обритым, как сталинский нарком. В одной руке незнакомец держал стакан компота, в другой – тарелку с пирожком.

– Аг-га, вот и мой соавтор! – воскликнул Жарынин. – Знакомьтесь: Андрей Львович Кокотов – прозаик прустовской школы!

– Владимир Борисович, – отрекомендовался обритый и, поставив тарелку на стакан, жестко пожал писателю руку. – Как зубы?

– В каком смысле?

– В прямом! Если что, заходите – подлечим! Зубы в организме человека играют такую же роль, как и сценарий в кино! Правильно?

– Не уверен... – уклончиво отозвался начинающий сценарист, нащупав языком давнюю дырку от вылетевшей пломбы.

– Правильно! – кивнул режиссер. – Ну а как там у нас на Курской дуге?

– Плохо, – помрачнел Владимир Борисович.

– А что случилось?

– Да понимаешь, Антоныч, какое дело... Сел я на «лавочку», взлетел с фелда, иду себе тихонечко над Понырями... А тут, откуда ни возьмись, сверху – «фока»: как даст мне в двигло! Я с ним еле-еле встречными разошелся. Весь такой – дымлю и колбасит во флаттере. А он, гад, ко мне на шесть садится и шмаляет со всех стволов! Я уже едва маневрирую. С трудом бочку ему размазанную забацал... Он соскочил. Я нырк под него – и в сторону...

Владимир Борисович говорил все это страстно, с пацанским азартом, задыхаясь от страсти, жестикулируя так, что компот расплескивался через край, а пирожок прыгал на тарелочке как живой. Казалось, он и сам только что вырвался из-под Курска, минуту назад снял шлемофон и отстегнул планшет. Слушая этот непонятный, бредовый рапорт, Кокотов опустил глаза и с удивлением обнаружил, что из-под белого халата виднеются хромовые гармошчатые сапоги, а в них заправлены галифе с широкими красными лампасами.

– Значит, все-таки ушел? – обрадовался Жарынин.

– Если бы! Я сначала и сам так думал. А тут как начали «зены» дубасить – всадили мне опять в двигло... Я только успел на бейл нажать. Ну и всё – блэк аут. Вот так, Дмитрий Антонович, мне «фока» над Понырями «пэка» и прописала...

– Что прописала? – не понял писатель.

– Pilot kill! – пояснил Владимир Борисович и посмотрел на него, как на младенца, не осознающего назначение материнской груди.

– Ну ничего! В другом бою отомстишь! – приободрил Жарынин.

– Дай-то бог! – молвил убитый пилот и, сгорбившись под тяжестью оперативной обстановки, сложившейся в небе над Курской дугой, побрел по оранжевому переходу меж домашних пальм.

– Он кто? – глядя ему вслед, спросил Кокотов.

– Местный стоматолог. Кстати, хороший.

– А почему с лампасами?

– Казак. Есаул, кажется...

– Ясно. А «фоки» и «зены»?

– «Фоки» – это фокеры. «Зены» – зенитки. А сам он – вирпил.

– Кто-о?

– Виртуальный пилот. «Ил-2. Штурмовик».

– А что это?

– Компьютерная игра. Неужели не слышали?

– Не-ет!

– Господи, как же ленивы и нелюбопытны русские писатели!

...Столовая дома ветеранов размещалась в обширном зале с обязательным для подобных учреждений мозаичным панно во всю стену. В нашем случае монументалист изобразил вихрь, который подхватил и понес вдаль разнообразные предметы творческой деятельности, как то: кисти, карандаши, тюбики краски, рулоны киноплёнки, театральные маски, исписанные листки бумаги, книги, гусиные перья, циркули, наугольники, разнообразные музыкальные инструменты вроде скрипок и кларнетов, окруженные, как назойливыми насекомыми, черненькими хвостатыми нотами... Однако весь этот творческий ураган стремился не в какую-то безыдейную даль, а туда, где занималась алая жизнеутверждающая заря, а значит, создавалось панно во времена коммунистической деспотии, изнурявшей крепостную художественную интеллигенцию непосильной идеологической барщиной. Однако и «крепостные» были себе на уме: за мусикическим ураганом из угла наблюдал лукавый глаз, заключенный в треугольник.

– «Пылесос», – пояснил Жарынин, указав на панно. – Миша Гузкин наместрячил. Охраняется государством.

– Угу, – понимающе кивнул Кокотов.

В зале стоял тот особый столовский запах, который можно сравнить с пищевой симфонией, где есть главная тема (сегодня это были, несомненно, щи), но при этом имеется множество иных мотивов и вариаций. Так, с раздачи тянуло еще жареной курицей, подгоревшей творожной запеканкой, ванильной подливкой... Доносился и тяжкий дух застарелой кухонной неопрятности. Обычно над такими цехами общественного питания висит неумолкающий гул голосов, звон тарелок, стук и скрежет торопливых ложек. Однако тут питались старые люди, и поэтому было почти тихо. Ветхие, погруженные в предсмертную полудрему, они даже насыщались негромко, точно во сне. Впрочем, несколько еще бодрых ветеранов с живым интересом вскинулись на вошедших новичков и зашелестели, обмениваясь впечатлениями.

Кокотов успел заметить, что некоторые из ипокренинцев были одеты неряшливо: в какие-то залоснившиеся халаты, вязаные кофты, блузы... Другие же, напротив, нарядились с отчаянным нафталиновым щегольством и музейной изысканностью. Андрею Львовичу бросилась в глаза изящно высохшая старуха в кремовом платье и белоснежном тюрбане. Она сидела за столом в одиночестве, высоко подняв голову, аристократично выпрямив спину, и подносила ко рту ложку плавными королевскими движениями.

– Ласунская, – шепнул Жарынин, перехватив взгляд соавтора.

– Боже мой! Она!

А навстречу им уже спешила, по-утиному переваливаясь, сестра-хозяйка, низенькая и очень толстая женщина в белом накрахмаленном халате. Ее улыбчивое румяное лицо покоилось на пьедестале из трех подбородков.

– Ах, Дмитрий Антонович! – воскликнула она. – Давненько вы у нас не были! Куда же мне вас посадить?

– Полностью доверяюсь вам, Евгения Ивановна! – сказал Жарынин с чуть внятной оболстительностью.

– Вам ведь там, где потише, и чтоб не приставали? – спросила она, принимая игру и кокетливо закатывая глаза.

– Вы же понимаете... Заговорят насмерть!

– Я вас всегда понимаю, Дмитрий Антонович! – уже почти призывно засмеялась Евгения Ивановна.

– Какая редкость – женское понимание! – тяжело вздохнул режиссер.

Вникая в разговор, Кокотов внезапно озадачился: а что, собственно, Жарынин будет делать с этим женским шаром, если флирт дойдет до своего естественного финала?

– А вон столик у колонны! Как для вас держала! Там сейчас Ян Казимирович. Он, конечно, не молчун, но меру знает!

– А кто еще там сидит?

– Жуков-Хаит. Но он сейчас Жуков и почти не разговаривает.

– И это все?

– Нет, там еще сидел Медеянский с новой женой. Совсем молоденькая! Но сейчас он в Брюсселе – судится за Змеюрिका. Обещал, если выиграет, всех неделю поить шампанским! – восторженно сообщила Евгения Ивановна.

– Сомневаюсь, – хмыкнул Кокотов, зная легендарную скупость Гелия Захаровича.

– Кстати, совсем забыл! – воскликнул Жарынин. – Это мой соавтор – Андрей Львович Кокотов. Автор знаменитого романа «Польня счастья»!

– Ой, а я читала! – по-девчоночьи зарделась сестра-хозяйка, причем покраснели только складки шеи, а густо напудренное лицо осталось белым. – Но ведь это, кажется, иностранная женщина написала?

– Совершенно верно: Аннабель Ли. У вас прекрасная память!

– Да, точно – Аннабель. Фамилию я не запомнила – очень короткая... А как же это так получается?

– Ах, бросьте, Евгения Ивановна, если вы завтра подпишете меню «Евгений Иванович», вы же от этого мужчиной не станете!

– Не стану... – согласилась она, с недоумением глядя на Кокотова. – Ну надо же!

– Только ни-ни, никому! – предупредил режиссер, приложив палец к губам. – Художественно-коммерческий секрет!

– Ну что вы! Я же понимаю! – посерьезнела сестра-хозяйка, и ее глаза блеснули тайной.

– Значит, у колонны? – переспросил Жарынин.

– У колонны! – подтвердила она, и это прозвучало как отзыв на пароль.

Соавторы двинулись через зал. Старики и старухи замирали с ложками в трясущихся руках и провожали их слезящимися любопытными глазами. Многие узнавали режиссера и радостно кивали или махали сморщенными ладошками, он же в ответ дружелюбно раскланивался, точно эстрадная звезда, уловившая в зрительном зале знакомое лицо. Кокотов, все еще чувствуя спиной изумленный взгляд Евгении Ивановны, прошипел, не разжимая губ, как чревоуещатель:

– Что вы себе позволяете?! Кто вас просил?!

– Вы о чем?

– О прустовской школе и «Полынь счастья»! Я вообще не афиширую эту сторону моей творческой жизни!

– Да ладно... Что вам, жалко? Зато у бедной Евгении Ивановны теперь есть тайна. Представляете, как нужна тайна женщине с такими формами?

– Представляю...

– А вон, видите старика? Вон – залез пальцами в компот! Проценко. Лучший Отелло соцреализма. Любимец Сталина, Хрущева и Брежнева. Друг самого Оливье!

– Да что вы? Тот самый?

– Именно! А вон там, у панно, руками машет? Савелий Степанович Ящик – знаменитый выездной директор ансамбля «Рябинка». – Андрей Львович узнал старичка в тройке и тапочках, встреченного у входа.

– Что значит – выездной?

– То и значит. – Жарынин приложил к плечу три пальца. – Когда в Париже в семьдесят девятом сразу четыре солистки, отлучившись в туалет, попросили политического убежища, старый чекист сначала хотел застрелиться, но потом просто перебрался сюда. А рядом – легенда советского цирка Злата Воскобойникова. Помните сестер Воскобойниковых? Девушки без костей! Спешите: только сегодня пролетом в Токио. Злата – младшенькая. Невеста Ящика.

– Невеста! Ящика? – изумился автор «Полынь счастья».

– Да. Здесь и такое бывает... А вон, взгляните, старушка в кимоно. Спит. Народная артистка Саблезубова. Говорят, была любовницей самого Берии. Не завидую я Лаврентию Павловичу. А дальше, под пальмой, – внебрачная сноха Блока. Та еще штучка! Вы читали ее мемуары «Трепет незабываемого»?

– Кажется, да... – смутился Кокотов: из этих лихих воспоминаний он позаимствовал для «Лабиринтов страсти» скрупулезное описание артистических свальных оргий.

– С ней за столом – комсомольский поэт Верлен Бездынько, любимый ученик Асеева и Хаита. Помните:

*Она сняла гимнастерку.  
А я отстегнул парабеллум.  
Она закурила махорку.  
А я накрыл ее телом.*

– Верлен? Странное имя...

– Нормальное революционное имя. Верный ленинец. Сокращенно – Вер-лен. Это еще что! У нас в кинофонде служил бухгалтер Тромарлен Самуилович.

– Не может быть!

– Точно! Троцкий-Маркс-Ленин. Он это тщательно скрывал, и никто не догадывался, думали – редкое еврейское имя. Но меня-то не проведешь. Тромарлен мне всегда самые большие командировочные выписывал – за молчание...

– Я не об этом.

– А о чем?

– Я про Ласунскую. – Кокотов снова посмотрел на старуху в тюрбане.

– Да, мой друг, самая красивая женщина советского кино. «Норма жизни»! Стеша Колоскова. Из-за любви к ней застрелился генерал Битюков.

– Боже, Вера Ласунская! – ахнул Кокотов. – А ведь какая была!..

– А что ж вы хотите?! Старость, как справедливо заметил Сен-Жон Перс, – это сарказм Бога.

– Но ведь ей сейчас...

– Ну и что? К столетию Пушкина в степях отыскивали ту самую калмычку... Помните, «Прощай, любезная калмычка...»?

– Шутите?

– Факт. Почитайте Бартенева!

– Да я вроде читал...

– Вроде – у Мавроди!

Соавторы подошли к четырехместному столу у колонны. Там сидел миниатюрный старичок, похожий на внезапно состарившегося подростка. В отличие от своих соратников по закату жизни одет он был вполне современно: клетчатый пиджак модной расцветки, сорочка с высоким воротником, вишневый шейный платок... Однако при внимательном взгляде становилось ясно, что пиджаку с пуговицами, обтянутыми вытершимся бархатом, по крайней мере полвека. Просто мода, как известно, ходит по кругу, подобно ослу, привязанному к колышку.

Ел старичок не казенной алюминиевой, а своей собственной ложкой – массивной, серебряной, с кудрявой монограммой на ручке. Рядом лежал сафьяновый футляр-складень, из отделений которого торчали еще вилка и нож.

– А мы к вам! – радостно сообщил Жарынин. – Примете?

– Конечно! – ответил старичок, звонко чеканя «ч». – Счастлив видеть! Милости прошу, Дмитрий Антонович!

Голос у него оказался тоже какой-то полувзрослый.

– Разрешите представить вам моего друга и соавтора: Андрей Львович Кокотов, прозаик прустовской школы! – со сладкой издевкой сообщил режиссер.

У прозаика от обиды во рту возник медный привкус.

– Пруста, к сожалению, не застал. А вот с Кокто встречался... – Старичок, наслаждаясь созвучием имен, лукаво глянул на Кокотова. – Позвольте отрекомендоваться: Ян Казимирович Болтынский.

– Ну что ж вы так скромно, Ян Казимирович? – попенял Жарынин. – Народ должен знать своих героев. Знакомьтесь, коллега: перед вами легендарный Иван Болт – любимый фельетонист Сталина. Мог снять с работы любого наркома с помощью одной публикации в «Правде». Как говорится, утром – в газете, вечером – в решетчатой карете...

– Вы преувеличиваете! – зарделся польщенный ветеран острого пера.

– Ну как же, как же... – вполне искренне отозвался Андрей Львович, вспомнив, как покойная Светлана Егоровна, достав из почтового ящика свежую «Правду», первым делом искала новый фельетон знаменитого Болта.

– Как вам мой платок? – поинтересовался старичок, вытянув шею, чтобы лучше было видно.

– Париж? – уточнил режиссер.

– Да, Галерея Лафайет. Вы, Дмитрий Антонович, знаете толк в дорогих вещах! Это мне правнучек подарил. Кеша. Он скоро сюда приедет. Ну что ж вы стоите? Присаживайтесь!

– Спасибо! – Кокотов взялся за стул.

– Нет-нет! – забеспокоился старичок. – Сюда нельзя. Здесь сидит Жуков-Хаит. К тому же он теперь Жуков – поэтому лучше сюда.

Наконец соавторы расселись. Жарынин в ожидании официантки взял кусочек черного хлеба, намазал горчицей и посолил. Писатель, которому после перцовки страшно хотелось есть, сделал то же самое. Ветеран подвинул к ним банку из-под китайского чая с каким-то зеленым порошком:

– Угощайтесь!

– Что это? – спросил осторожный литератор.

– Как что? Морская капуста!

Режиссер вежливо подцепил немного зеленого порошка на кончик ножа и стряхнул на свой бутерброд. Кокотов, поблагодарив, отказался.

– Напрасно, Андрей Львович! Как вы думаете, сколько мне лет?

– Затрудняюсь, – пожал плечами писатель, отметив про себя, что старичок-то запомнил его имя-отчество с первого раза.

– Девяносто девять! А как я выгляжу? – Болтянский для наглядности обнажил зубные протезы – бесплатные, судя по неестественной белизне.

– Потрясающе!

– Больше семидесяти двух вам не дашь! – подтвердил режиссер.

– А все благодаря ей! – Старичок зачерпнул ложкой капусты и отправил в рот. – Сорок лет я без нее не сажусь за стол. Она моя спасительница! В перестройку совсем из аптек исчезла. Так я, поверите ли, талоны на водку за нее отдавал – мне со всей Москвы несли!

– Только капуста? – уточнил Жарынин.

– Нет, еще, конечно, секс! Секс и морская капуста делают человека практически бессмертным! Мы еще с вами выпьем на моем столетии!

– Секс? – Режиссер многозначительно задрал брови. – И кто же эта счастливица?

– Есть вопросы, на которые мужчина не отвечает! – потупился Ян Казимирович, и в его сморщенном личике появилось выражение блудливой суровости.

Наконец к столику подкатила свою тележку официантка – довольно еще молодая женщина с измученным лицом и золотыми зубами.

– Витаминный салат и щи, сосиски, гречка – объявила она. – Вы сегодня без заказа.

– Щи да каша – пища наша! – оживился Жарынин. – Ты чего такая грустная, Татьяна?

– А чего радоваться, Дмитрий Антонович? Уволят нас всех скоро. На что своих кормить буду?

– Так уж и уволят?

– А вы разве ничего не знаете? Нас же продали.

– Кому?

– Ибрагимбыкову.

– Так уж и продали?

– Говорят, продали. А вам разве не сказали?

– Слышал кое-что...

– Помогите, у вас же связи!

– Помогу. А что на второе, кроме сосисок?

– Кура. Можно вегетарианское...

– Давай курицу!

Татьяна грустно кивнула и укатила тележку.

– Странно! Раньше порции были больше! – удивился Жарынин, вглядываясь в тарелку.

– Увы! – Ян Казимирович погрузил серебряную ложку в щи, которые предварительно густо посыпал морской капустой.

– Интересные у вас приборы! – заметил Кокотов. – Фамильные?

– Не совсем. Хотя как посмотреть... А вы знаете, чей это герб?

– Чей же?

– О, ни за что не догадаетесь, хотя, впрочем, он имеет непосредственное отношение к вашей профессии. Но сначала я должен вам кое-что рассказать!

– Ян Казимирович! – перебил его Жарынин. – Неужели вас не беспокоит судьба «Ипокренина»?

– Нет. Во-первых, в моем возрасте нервничать вредно. А во-вторых, Кешенька сказал, что все будет хорошо.

– А кто же у нас Кешенька?

– Юрист. Очень хороший. Он даже ведет колонку «Законник» в газете «КоммивояжерЪ». Читали?

– Не приходилось.

– Напрасно. Кеша пошел в моего дядю. Великий был юрист! В тысяча девятьсот шестом он защищал эсера Шишова, застрелившего пензенского обер-полицмейстера, и выиграл процесс. Шишова оправдали. После этого Шишов взорвал воронежского вице-губернатора и ранил начальника курского жандармского отделения. Только тогда его повесили. Но лучше я расскажу все с самого начала!

– Ян Казимирович... – начал было режиссер, но опоздал: на сморщенное лицо ветерана легла эпическая суровость, а молодые белые зубы обнажились в печальной улыбке познания.

– ...История моего рода крайне интересна. Я, конечно, мог бы начать с шестнадцатого века, когда наша фамилия впервые появляется в хрониках...

– Да что уж там... Давайте со времен Чеха, Ляха и Руса, – сокрушенно вставил Жарынин.

– Ладно, ладно, Дмитрий Антонович, я знаю, вы уже слышали мою сагу, правда, не до конца. Но ведь Андрей Львович не слышал! Вам интересно, Андрей Львович?

– Оч-чень интересно! – мстительно потер руки Кокотов.

– Ну так слушайте! Мой дед Станислав Юзефович Болтянский попал в Сибирь за участие в польском восстании. В Тобольске он остепенился и женился на дочери такого же ссыльного поляка Марысе Гржимальской. О, это была романтическая история! Он стрелялся из-за нее с офицером гарнизона Захариним, был ранен и шел под венец с неподвижной рукой на черной перевязи. Мой отец Казимир Станиславович родился в Тобольске, окончил Казанский университет и служил по налоговому ведомству в Красноярске. Женился он, вопреки воле отца, уже не на польке, а на русской – дочери купца второй гильдии Антонине Коромысловой. У них было четыре сына: Бронислав, Мечислав, Станислав и я, младший. Когда грянула революция, мне было всего семь лет, но я хорошо помню, как отец, сильно болевший, призвал нас к своему одру и сказал...

– Евреи и поляки развалили великую империю! И за это вы еще ответите!

Собеседники подняли головы и увидели нависшего над ними бородач в старых джинсах и льняной косоворотке, перетянутой в поясе солдатским ремнем со звездной пряжкой.

– Ах, Федор Абрамович! – боязливо заулыбался Болтянский. – А у нас тут прибавление. Разрешите представить...

– Вижу! Не надо, – буркнул бородач, уселся за стол и заорал так, что дрогнули стекла в рамках: – Татьяна!!!

Старики как по команде перестали жевать и опасливо оглянулись.

– Бегу-у-у! – Официантка торопливо катила к ним тележку.

Она боязливо выставила перед Жуковым тарелку с налитыми до краев щами, да и витаминного салата ему положила больше, чем остальным. Конечно, такая несоразмерность была молчаливо отмечена соавторами. Впрочем, на этом несправедливость не заканчивалась: если всем достались куриные крылышки, похожие на крошечные пупырчатые бумеранги, то Жукову Татьяна принесла внушительную ножку, напоминавшую дубинку.

Ян Казимирович завистливо глянул на ножку, достал из сафьянового футляра нож с широким закругленным лезвием, взял витиеватую вилку с четырьмя длинными гранеными зубьями и, постукивая вставными челюстями, точно кастаньетами, продолжил питание.

– Приятного аппетита! – буркнул бородач с такой ненавистью, что Кокотову сразу расхотелось есть.

## Глава 13

### Сосцы неандерталки

– А кто он такой, этот Федор Абрамович? – спросил писатель, когда соавторы вернулись в номер.

– Жуков-Хаит? – отозвался Жарынин, любовно набивая послеобеденную трубку, на сей раз янтарно-желтую, с длинным прямым мундштуком. – Как вам сказать... Тут в двух словах не объяснишь...

– Объясните в трех словах!

– Да и в трех не объяснишь.

– Странная у него фамилия!

– Если бы только фамилия...

– Он родственник поэту Хаиту?

– О, да!

– Может быть, все-таки расскажете? – раздраженно попросил Кокотов.

– Любопытство, Андрей Львович, – первый шаг к потере невинности, как справедливо заметил Сен-Жон Перс. Расскажу в другой раз.

– Ага, так же как про Пат Сэлэндж...

– А я разве не дорассказал?

– Нет.

– И на чем же мы остановились? – Режиссер щелкнул автогенной зажигалкой, раскуривая трубку, и устроился в кресле поудобнее.

– Пат размышляет о том, чей бы оргазм выбрать на уик-энд! – с готовностью напомнил Андрей Львович.

– Да нет же! На чем мы остановились в вашем «Трубаче»?

– Не помню, – обидчиво соврал автор.

– Зато я помню! – Трубка не раскуривалась, и Жарынин, взяв тройничок, проткнул слишком плотно набитый табак в нескольких местах тонким металлическим стержнем. – Мы с вами остановились на «измученном лимоне». Найдите это место!

Кокотов, ненавидя себя, повиновался:

– Может, не будем читать вслух?

– А вам что, стыдно?

– Не стыдно... Но все это как-то странно...

– Имейте мужество до конца выслушать то, что сами написали! Ладно, если вам неприятно, я дочитаю...

Жарынин раскурив наконец трубку и выпустил такую мощную струю дыма, что очертания комнаты на время почти исчезли в ароматном клубящемся тумане. Затем он водрузил на нос китайчатые очки, брезгливо взял раскрытый на нужной странице журнал, некоторое время с сомнением смотрел в него, шевеля недоумевающими бровями, и медленно начал читать:

– «...Львов достал свой нехитрый завтрак, порезал соленый огурец и луковку, разъял успевший слежаться многослойный бутерброд, разбил о коленку трубача яйцо и стал жевать, подливая себе чай из термоса. В колпачок, служивший стаканом, выпал кружок измученного лимона. Грибник выловил его пальцами и, морщась, съел.

Пестрый августовский лес, высоко обступивший то, что когда-то было пионерским лагерем, еле слышно шумел или даже роптал о том, что сделало время с этим некогда живым детским оазисом. Иногда с деревьев беззвучно срывался лист и, петляя в воздухе, ложился на траву. Земля постепенно становилась похожа на лоскутное бабушкино одеяло...» – Жарынин

остановился. – Вы, коллега, играете сравнениями, как дурак – соплей! Ладно, не поджимайте губы – они у вас и так тонкие!

– Вы считаете, художественность в прозе вообще неуместна? – Андрей Львович даже похолодел от ярости.

– Искусство – это не «как», а «что»!

– Не согласен!

– Ваше право, но вы мне надоели! В конце концов, я вам не чтец-декламатор! Ваш рассказ – вы и читайте!

Режиссер швырнул журнал Кокотову и наполнил комнату сердитыми клубами табачного дыма.

Автор продолжил чтение, стараясь всем своим видом показать, что ради творчества готов снести любую бестактность, однако забывать или прощать хамство не в его правилах. Но постепенно родной текст умягчил сердце и увлек душу:

– «...вдруг Львов услышал мелодию давней, забытой песни, которая была в то лето страшно популярна – и ее по несколько раз в день крутил лагерный радиоузел. Он даже оглянулся, ища алюминиевые репродукторы, висевшие когда-то на столбах, но их давно уж не стало. И Львов понял, что мелодия звучит в нем самом, а губы невольно шепчут забытые слова:

*Только прошу тебя, не плачь!  
Только прошу тебя, не плачь!  
Я удержу в своих ладонях твою руку!  
Ты слышишь, гипсовый трубач,  
Старенький гипсовый трубач  
Тихо играет нашу первую разлуку!*

Она очень любила эту песню и все время напевала. После отбоя и вечернего педсовета, когда лагерь спал, они встречались здесь, возле гипсового трубача, в зарослях отцветшей сирени. Он снимал свою куртку, украшенную нашивками студенческого стройотряда, и набрасывал на ее зябнувшие плечи. Вечера были уже прохладные: осень подбиралась к ним на мягких лапах сентябрьских листопадов...»

– Ясно! – скривился Жарынин. – А зима, значит, подкрадывается на лапах декабрьских снегопадов. Как же у вас, у писателей, все просто!

– Да, действительно... не очень удачно... Я поправлю...

– Читайте уж дальше, Флобер Мопассанович!

Кокотов внутренне поразился тому, что откровенное хамство соавтора уже не вызывает в нем возмущение, а лишь какую-то мстительную покорность.

– «...Последняя, третья, смена заканчивалась. Им предстояло расстаться и разъехаться по домам. Он старался не думать об этом, как не думают в юности о смерти, но, конечно, понимал: скоро все закончится – и не мог, не хотел смириться с тем, что вот эта звенящая нежность, наполнявшая его тело с того самого момента, когда он впервые увидел ее на педсовете, так и погибнет, развеется в неловких словах, случайных касаниях рук, косвенных взглядах, улыбках, полных головокружительной плотской тайны. Кажется, и она чувствовала нечто схожее, день ото дня смотрела на него с нараставшей серьезностью, даже хмурилась, точно готовилась принять очень сложное и важное решение.

А поцеловались они за всю смену только раз, во время вожатского костра, разведенного на Веселой поляне. Она вдруг взглянула на него так, что он все сразу понял. Посидев немного со всеми, они, не сговариваясь, незаметно ушли в лес, в темноту, подальше от пьяных голосов, гитарного скрежета и огромных пляшущих теней. Из ночной глубины леса костер казался огненной птицей, быющей в решетке черных стволов и веток...» – Кокотов виновато

посмотрел на соавтора, но тот лишь махнул рукой, как на безнадёжного больного. – «...Львов тихо обнял ее и поцеловал. Губы у нее оказались мягкие, нежные и доверчивые. Она пахла дымом и духами. Потом, много лет спустя он случайно выяснил, как они называются. “Сигнатюр”. Он даже подарил такой флакон жене к Восьмому марта, но ей духи не понравились. А может, почувствовала что-то. Жены чувят другую женщину, даже прошлую, даже позапрошлую, лучше, чем таможенный сеттер – наркотики...»

– А вот это неплохо! – внезапно похвалил Жарынин и по-сталински ткнул в сторону соавтора длинным мундштуком. – Талантишко-то у вас все-таки есть!

Воодушевленный до слез, Кокотов сглотнул счастливый ком в горле и продолжил:

– «...После поцелуя она, отстранившись, долго-долго смотрела ему в глаза и наконец спросила:

– Ты меня любишь?

– Да, люблю.

– И потом будешь любить?

– Боже... Ника... Конечно... – задохнулся Львов».

Режиссер от возмущения аж подпрыгнул в кресле и ухнул филином.

– Ника?! Ну почему, почему: как только романтическая любовь, так сразу: – Ника, Вика, Лика, Лина, Инна, Тина! Почему-у? Как ее звали на самом деле?

– Кого?

– Прототипшу.

– А вы уверены, что она была?

– Уверен. Про духи сами бы вы никогда не придумали.

– Почему же?

– Все потому же. Как звали деву?

– Тая... и Лена...

– Ка-ак?

– Таисия и Елена... У меня было две... два прототипа.

– Уже неплохо. Ну, Лена – слишком традиционно. А вот Таисия – прекрасное имя! Редкое. Оставили бы Таисию. А то – Ника! Тьфу! Ладно, читайте дальше, никонианец вы мой!

– «...Вопрос: “А что потом?” – Львов и сам постоянно задавал себе и, отвечая на него, все ближе подкрадывался к пониманию того, что в этом робком “а потом?” уже очнулось и распустилось сладостное, вечнозеленое слово “любовь”. А накануне отъезда Ника сама подошла к нему и назначила свидание возле гипсового трубача, ночью, после прощального костра...»

– Верно говорит Сен-Жон Перс: женщина отдается, чтобы взять, – задумчиво молвил Жарынин. – Читайте дальше, коллега!

– «...Львов даже не слышал ее шагов, а только уловил острый запах “Сигнатюра” и ощутил, вздрогнув, как ее легкие ладони легли ему на плечи. Он обернулся, их дыхания встретились – сначала дыхания, потом руки, губы, тела... Под платицем у Ники не было ничего, кроме бездны женской наготы. Они любили друг друга прямо на мшистой земле, шатавшейся и кружившейся под ними. Любили прямо у подножия гипсового горниста, беззвучно трубившего в ночное небо гимн их невозможному счастью. Счастьем, которое в единый миг пронзило их обоих безумным искристым мечом, как пронзал беспощадный ветхозаветный пророк иудеев, обнимавших чужевверных дев...»

Кокотов перевел дух и незаметно глянул на неподвижное лицо соавтора, ища хотя бы тень одобрения своей тонкой библейской аллюзии. Но тени не было. Напротив, режиссер с сомнением поинтересовался:

– А не холодно?

– В каком смысле?

– Ну, все-таки конец августа.

Несчастный прозаик пожал плечами и оставил этот вопрос без ответа, так как с опозданием вспомнил о том, что прототипические события его жизни произошли в июле, когда и воздух, и земля гораздо теплее.

– «...Потом они лежали недвижно и смотрели на звезды.

– Ты знаешь, что это? – спросила она, показывая на млечное крошево, рассыпанное по горному темно-синему бархату.

– Что?

– Каждая звезда – это любовь. Когда любовь заканчивается, звезда падает. Вон, видишь – полетела! Это кто-то кого-то разлюбил...

– Я тебя не разлюблю!

– Я знаю...

– Я тебя очень люблю.

– Я и это знаю...

– Не уезжай!

– Не бойся! Я к тебе приеду. Скоро! Съезжу только к родителям. Мама болеет...

– А где живут твои родители? – Львов почувствовал щемящую странность своего вопроса.

Он обнимает тело самой близкой, навеки ему теперь принадлежащей юной женщины, а сам не знает даже, где живут ее родители! Чудовищно...

– В Анапе.

– Это у моря?

– Прямо на берегу! Представляешь, мы сможем там отдыхать. Без всяких путевок. Я хочу, чтобы однажды мы сделали это в море, ночью...

– Я тоже... Я тебе буду звонить.

– Мне некуда звонить. В Анапе у нас нет телефона. А в Краснодаре я живу в общежитии. Телефон есть, но вахтерши никогда не позвонят, особенно если мужской голос. Вредные.

– И много у тебя было мужских голосов? – с болезненной веселостью спросил Львов.

– Ах, паршивец! Он еще спрашивает! Как будто не понял! – смешливо возмутилась Ника и тихонько шлепнула его ладонью по губам.

– Я тебе буду писать! – пообещал он, привлекая ее к себе.

– Пиши...

Внезапно она рывком села и оттолкнула его. Львов испугался, даже обиделся.

– Здесь... здесь кто-то есть! Кто-то смотрит на нас... – задыхаясь, прошептала Ника, испуганно вглядываясь в темные силуэты кустов и прикрывая грудь скомканным платьем.

– Нет здесь никого. Мы одни. Все спят...

– Правда?

– Правда!

– Извини! Мне показалось... – Словно ища прощения, она заставила его лечь и нежно склонилась над ним, а Львов стал тянуться вверх губами и целовать ее сосцы, теплые и нежные, как вербные почки...»

– Да ну вас к черту, в конце-то концов! – возмутился Жарынин и отшвырнул погасшую трубку. – Русские литераторы совершенно не умеют писать эротические сцены. Совершенно! Ну почему, почему соски у вашей Ники – как вербные почки? Она что – неандерталка?

– Прежде чем написать это, я специально целовал вербные почки! – еле сдерживаясь, объявил Кокотов.

– Действительно?

– Да, действительно! Я специально пошел в марте в Лосиный Остров, нашел вербу и целовал... Пока почка молодая, она совсем не ворсистая, а гладкая и нежная, как шелк...

– Вы извращенец! Дендрофил. Горе мне! Ну допустим, соски у героини – как вербные почки. Допустим. Для моего кино это не принципиально. Но почему, почему, скажите, половой акт превращается у вас чуть ли не в землетрясение?

– Это не половой акт. Это любовь...

– Ах, это любовь?!

– Да, любовь. Настоящая!

– А чем, Андрей Львович, настоящая любовь отличается от ненастоящей? Вот в вашей жизни – чем?

– Я не собираюсь обсуждать с вами этот предмет! – отрезал Кокотов и вспомнил, совсем некстати, любимую постельную шалость утраченной Вероники.

– А я вам скажу, чем отличается! Настоящая любовь в вашей литературе всегда заканчивается катастрофой. Сначала вы придумываете эту настоящую любовь, а потом сами не знаете, куда ее засунуть! Ладно, в девятнадцатом веке писатели действительно не понимали, что делать с дефлорированной вне брака девицей, вроде Бэлы или Настасьи Филипповны. И несчастных просто убивали, чтобы не мучились. А теперь-то, когда девственность обесценилась, как акции ЮКОСа, писатели не знают, что делать с единственной женщиной своего полигамного героя. И тоже убивают. Палачи! Отпустите ее, пусть живет, радуется, спит с самцами, рождает детей. Так нет же! У вас, Кокотов, руки по локоть в крови! Дайте сюда! – Он вырвал из рук соавтора журнал и стал читать концовку рассказа с издевательской прочувствованностью, подражая сводкам Левитана: – «...Он ждал ее звонка. Подбегал к телефону, но каждый раз это была не она. Написал несколько писем на адрес общежития, который Ника оставила ему перед разлукой. И наконец получил ответ. От коменданта общежития по фамилии Строконь. На тетрадном листке в клеточку от руки, буквами четкими и почти печатными сообщалось, что такая-то “из списков проживающих студентов выбыла в связи со смертью, наступившей в результате авиационной катастрофы, случившейся при посадке самолета местной линии в аэропорту Анапы...” Далее шла затейливая подпись и круглая фиолетовая печать. Эта печать на клетчатом, неровно оторванном тетрадном листе поразила Львова в самое сердце. Он зарыдал и проплакал до утра...»

– Можно, я сам закончу? – тихо попросил Кокотов.

– Да ради бога! – ответил режиссер со странной теплотой в голосе и отдал журнал.

– «...Прошло лет десять. И однажды ему приснилась Ника. Она недвижно стояла возле гипсового трубача в парадной форме пионервожатой: темно-синяя юбка, белая блузка, алый галстук на груди и пилотка-испанка на голове. Девушка молчала, но ее глаза пытались сказать что-то отчаянно важное. Львов проснулся от страшного сердцебиения, пошел на кухню выпить воды и, случайно глянув на отрывной календарь, обнаружил, что завтра день их последнего свидания и первых объятий.

С тех пор каждый год в этот день он приезжает сюда, к гипсовому трубачу, к памятнику своей первой и единственной любви...»

Кокотов закончил чтение с невольной дрожью в голосе и влажной теплотой в глазах.

– Всё? – полюбопытствовал Жарынин.

– Всё.

– Плохо.

– Почему?

– Потому.

– Ну, знаете! Каждый пишет...

– ...как он дышит? – издевательски перебил режиссер.

– Допустим.

– Ерунда! Не повторяйте глупостей вслед за поющими дураками! Как дышат – пишут только графоманы. Если бы каждый писал, как дышит, не было бы ни Флобера, ни Толстого, ни Чехова. Понимаете? Что по этому поводу говорил Сен-Жон Перс?

– Не знаю!

– Напрасно. Он говорил: искусство – это безумие, запертое в золотую клетку замысла! А теперь рассказывайте, что было на самом деле. В жизни. Колитесь! Куда они делись, ваши Тая с Леной... Они же не разбились, нет?

– Нет, Таю уволили из лагеря посреди смены...

– За что?

– По недоразумению.

– Хорошо. А Лена?

– А на Лене я женился.

– Вот как? Ладно, убийца, идите к себе! Я должен отдохнуть от вас и вашей прозы. После ужина продолжим...

## Глава 14

### В семейном строю

Обиженный Кокотов вернулся в свой номер и, заглянув в санузел, обнаружил, что геополитической шторки там уже нет, а вместо нее на перекладине болтается порванное в нескольких местах полиэтиленовое ничтожество, некогда покрытое розовыми цветочками. От этой мелкой жизненной несправедливости Андрей Львович расстроился буквально до слез и ничком упал на кровать. Некоторое время он так и лежал, чувствуя, как жалость к себе постепенно заполняет все уголки его тела, подобно воде, заливающей тонущую подводную лодку. Автор «Гипсового трубача», мучаясь, осознал, что совершил непоправимую ошибку, приехав в «Ипокренино» с этим грубым и странным режиссером, что он был полным идиотом, женившись на вероломной Веронике, а еще раньше свалил дурака, выбрав литературу, эту жестокую, подлую профессию, в которой от таланта, трудолюбия и честности не зависит ничего. Ничего! И от галерного раба ты отличаешься лишь тем, что раб мечтает только о тарелке супа, а ты – еще и о славе!

«Господи, – вдруг подумал он. – А ведь права, права была Зинаида Автономовна! Сто раз права! И Лена была права!»

...В институте он свою будущую жену даже не замечал, ибо на курсе девушек было бесмысленно много. А здесь, в пионерском лагере, куда они приехали на педпрактику, вдруг заметил: свежую, загорелую, выставившую из-под короткого платяца свои круглые, в ямочках, коленки. Он даже и вообразить не мог, что путь к девичьему телу может быть таким коротким. Когда они вдвоем склонились над расстеленным на полу ватманом, рисуя вожатскую стенгазету, он вдруг взял и поцеловал Лену в то место, где шея, восхитительно изгибаясь, становится плечом. Конечно, Кокотов никогда бы этого не сделал, если б не Тая...

Но о ней не сейчас, нет, не сейчас, не сейчас...

А Лена схватилась за поцелованное место, словно ее ужалила оса, покраснела и прошептала: «Больше никогда... Никогда!» (О, эти два самых обманных женских слова – «Никогда!» и «Навсегда!».) После прощального вожатского костра, вокруг которого плясали, пели, но больше пили, они пошли гулять по июльскому рассветному лесу. И догулялись.

– Ты меня любишь? – спросила Лена, глядя на него из травы широко раскрытыми от удивления и страха глазами.

– Да! – честно соврал Кокотов и неумело овладел Невинномысском.

Из травы счастливiec поднялся влажным от росы и грустным от чувства ответственности, причем ответственность он ощущал не столько за содеянное, сколько за сказанное. А еще мнительно подумал, что Лена отдала ему свою девственность так же легко, как отдают погорельцам почти не ношенные, но неудобные туфли. И осадочек, как говорится, остался. Кто это сказал: «Мужчины ценят дорогостоящий разврат выше, чем невинность, доставшуюся даром»? Кто? Может, Сен-Жон Перс?

Правда, потом, незадолго до свадьбы, в приливе полуобморочной постельной откровенности Лена призналась, что влюбилась в него еще на первом курсе. Нет, даже на вступительных экзаменах, во время устного по литературе.

– Странно! – усомнился Кокотов. – Мне же достались ленинские принципы партийности в литературе.

– Разве? – удивилась она. – А я и не заметила...

Елена была единственной дочерью полковника Никиты Ивановича Обихода и старшего товароведа обувного магазина «Сапожок» Зинаиды Автономовны, в девичестве Грузновой. Говорили, что в своей воинской части Никита Иванович был строг до лютой, но придя домой и сняв португую, он превращался в робкого сверхсрочника семейной службы: супруга коман-

довала им как хотела. Надо ли объяснять, что, попав в их семью, Кокотов сделался даже не рядовым, а так... трудно сказать чем.

Вспоминать о двух годах своей примацкой жизни он не любил. Утром, встретившись возле ванной с полковником, одетым в уставные синие трусы и голубую майку, будущий писатель читал на его кирпичном лице мужское одобрение или же недоумение, если молодежь ночью не производила за тонкой стенкой шумов, положенных новобрачным. Зинаида Автономовна относилась к зятю неплохо и поглядывала на него примерно так, как скульптор смотрит на кучу бессмысленной глины, из которой только еще предстоит сваять что-нибудь вразумительное.

Для пробы она однажды приказала ему посадить на раствор две плитки в ванной, оборудованной, надо сказать, для тех скудных в сантехническом отношении советских времен весьма достойно. Продавцы унитазов тоже ведь нуждались в импортной обуви, в тех же, например, итальянских лаковых сапогах-чулках. Плитка была, кстати, югославская. Имея кое-какие навыки, полученные в стройотряде, начинающий зять добыл на близлежащей стройке цемент-песок, замесил раствор и приступил к простому, на первый взгляд, делу: намазал – прилепил. Однако плитки никак не хотели вставать на положенные места, они или некрасиво перекашивались, или неровно выпирали из стройного ряда своих керамических товарок. Перемазав всю ванную раствором, Кокотов наконец-таки добился приемлемого результата и полюбовался, гордо размышляя о том, что интеллект много выше ремесленного навыка. Но едва мастер начал умывать руки, как одна из плиток, чавкнув, отлепилась от стены и упала, звонко разбившись об пол. На шум явилась Зинаида Автономовна и глянула на зятя как на половозрелого дебила, в очередной раз прилюдно обмочившегося.

Неделю спустя за субботним ужином она, значительно поглядывая на неумельца, рассказывала, что уничтоженная им плитка была из партии, которая давно уже закончилась, поэтому подняли на ноги весь «Сантехторг». К счастью, чудом завалявшуюся коробку удалось обнаружить на ведомственном складе в Лыткарине. Естественно, ради одной-единственной штуки пришлось брать всю упаковку, ведь в розницу (теща саркастически улыбнулась) у нас пока еще плиткой не торгуют. А поисковая операция обошлась Зинаиде Автономовне дорого: австрийские демисезонные сапоги, финские мужские меховые ботинки и чешские сандалеты. Все это ушло, разумеется, даром – то есть по госцене...

– Ну ничего-ничего! – успокоил Никита Иванович, наливая себе и зятю. – Теперь нам плитки на всю жизнь хватит. Бей – не хочу!

Лена во время этого разговора страшно нервничала, пыталась тайными нежными взглядами успокоить мужа, горько переживавшего свое внутрисемейное вредительство, а потом, когда квартира затихла, постаралась всеми женскими возможностями убедить любимого в том, что эти бытовые заморочки – ерунда, пустяки, главное – совсем другое, главное – они сами, их молодые тела, которые достигают в страстном слиянии невозможного, космического единодушия, заставляющего плакать от нестерпимого плотского счастья. Услышав, как родная дочь рыдает в голос, теща вскочила, простучала пятками по паркету и строго спросила из-за двери:

– У вас все в порядке?

Ответом ей был счастливый хохот. Кажется, в ту ночь они и зачали Настю. Больше никогда в недолгом супружестве им не было так невероятно хорошо, как той ночью, после «плиточного» недоразумения. А потом родилась дочь. Став отцом, Кокотов окончил институт и пошел работать в школу учителем словесности. Его даже ценили за умение находить общий язык со старшеклассниками. Писательство он, между прочим, не бросил, перейдя, как и положено семейному человеку, со стихов на прозу: обдумывал сюжеты, стоя в очереди за детским питанием, или набрасывал планы будущих сочинений, оторвавшись от ученических тетрадей, где Онегин всегда был лишним человеком, а Плюшкин – неременной прорехой на человечестве. Он даже перетащил в дом к Обиходам свою стенобитную «Десну», однако ему строго

объяснили, что сокрушительные движения агрегата пугают младенца. Кокотов отвез машинку к матери и получил от Зинаиды Автономовны разрешение по воскресеньям (разумеется, если все наряды по дому выполнены) убывать в увольнение на прежнее место жительства – для развлечений творчеством, которое считалось в новой семье, конечно, изъясном, но гораздо безобиднее пьянства, тунеядства или, упаси бог, чужеложества. Кстати, Лена после родов сильно поправилась, подурнела и полностью ушла в материнство, оставив мужу лишь воспоминания о прежнем их веселом постельном сообщничестве. Но даже с этим можно было смириться ради Насти! Боже мой, сколько многообещавших мужских судеб погублено бессмысленно солнечной младенческой улыбкой! И, наверное, Андрей Львович дождался бы возвращения Лены из материнства. Женщины оттуда иногда возвращаются. Но тут произошло событие, перевернувшее всю его жизнь. Впрочем, приметы надвигавшегося несчастья, конечно, мелькали и раньше, но Кокотов как настоящий писатель не умел смотреть под ноги, а только вдаль. Обиходы, включая Лену, частенько подтрунивали над его и в самом деле незавидной зарплатой, мол, у Никиты Ивановича сверхсрочник больше зарабатывает. Или взять хотя бы подчиненного лейтенанта Оленича! Только-только из училища, а какое денежное довольствие! И вот на семейном совете, куда Светлану Егоровну, естественно, не допустили, было принято решение переквалифицировать Кокотова из учителей в офицеры: в ту пору как раз вышел какой-то указ, и стали активно призывать в армию выпускников институтов.

– Сначала – Забайкалье, – объявила теща тоном самодержицы. – Потом – Монголия...

– А может, даже и Германия... – подбодрил скисшего зятя полковник Обиход.

– Берлин – очень красивый город! – мечтательно добавила Лена, пытаясь вернуть Насте в рот пюре, которое девчонка только что срыгнула.

И Андрей Львович понял: если он сейчас позволит совершить над собой такое, то дальше из его единственной жизни эти, в сущности, чужие ему люди слепят все, что им заблагорассудится. С литературой можно сразу проститься навсегда, как прощается с черно-белыми клавишами бедный пианист, во время шефского концерта сдуру сунувший руку под кузнечный пресс. Кокотов, ища поддержки, посмотрел на жену – и обмер, не найдя в ее взгляде ни сочувствия, ни сострадания, ни даже призыва к жертве. В нем была та же самая оловянная семейная требовательная дисциплина. А единственный человек, ради которого стоило пойти на это пожизненное самосожжение, Анастасия тем временем внимательно следила за полетом большой синей мухи, пикировавшей на недоеденное яблочно-морковное пюре – его молодой отец самолично натирал для дочери каждое утро, задумываясь над сюжетами и в кровь сдирая пальцы.

– А в Чехословакию потом нельзя? – тихо спросил Андрей Львович.

– Трудно, но попробуем... – подумав, ответил полковник.

– Хорошо бы... В Праге жил Кафка.

– Что-о-о? – нахмурилась теща.

– Не бойся, мама, это писатель такой, – успокоила филологическая дочь.

Дело в том, что «колпачком Кафки» называлось в ту пору одно крайне неловкое и ненадежное противозачаточное средство, про которое часто писал журнал «Здоровье» и которое, надо полагать, в сочетании с иными обстоятельствами обеспечивало неуклонный рост народонаселения Советского Союза.

– Молодец! – Тесть хлопнул зятя по плечу и наполнил рюмки всклень.

Омерзительное, омерзительное слово – всклень! Андрей Львович от отвращения несколько раз перевернулся на кровати.

...А благодарная Елена той ночью впервые за несколько месяцев старательно обнимала и голубила мужа, но прислушивалась при этом не к своему телу, как прежде, а к тому, что происходит в стоявшей неподалеку детской кроватке, прислушивалась так, будто нега женского счастья зарождалась и набухала теперь именно там, а не в ее ритмичных чреслах. Кокотова это

страшно задело, словно речь шла о постыдном любовном треугольнике, хотя третьим был не сторонний мужчина, а его собственная родная дочь...

В ближайшее воскресенье, выполнив все положенные семейные наряды, Андрей Львович отправился в литературное увольнение к маме. Но работа не клеилась, и он просто сидел, бессмысленно уставившись на лист, вставленный в каретку. Встревоженная Светлана Егоровна стала расспрашивать, а узнав о крепостнических планах новых родственников, страшно оскорбилась: «Ишь ты, нашли рекрута!» Она позвонила Елене и строго объявила, что не позволит ломать жизнь своему единственному сыну. Но трубку, судя по всему, перехватила теща. Чего уж они там друг другу наговорили – неведомо (Кокотов от ужаса заткнул уши), но Светлана Егоровна, внимая своей суровой сватье, побледнела как смерть и, не дослушав, вырвала провод из телефонной розетки.

– Если ты... если ты... я... никогда... – сказала она и пошла на кухню пить седуксен с валокордином.

Когда же к вечеру он засобирался назад, в семью, мать повторила уже членораздельно и даже сурово:

– Если ты туда вернешься – ты мне не сын!

И он остался, даже не позвонив Елене. А Светлана Егоровна металась по их маленькой квартирке и говорила, говорила о том, что ни одна женщина, никакая Елена Прекрасная не стоит счастья творческой самореализации. Он слушал и кивал. Потом, соскучившись по дочери и жене, Кокотов несколько раз собирался вернуться с повинной, но Светлана Егоровна не пускала, правда, сменив тактику. Она разъясняла, что, конечно, семью разрушать нельзя, но необходимо взять себя в руки и дожидаться, когда Обиходы (она произносила нарочно «Обэходы»), одумавшись, позовут его назад, – и тогда вернуться победителем, с развернутым знаменем, раз и навсегда продиктовав свои условия послевоенного мироустройства. Говоря все это, мать расхаживала по квартире и была похожа на Любовь Орлову, гордо несущую развевающийся флаг в финальных кадрах «Цирка».

Победителем! Такой совет могла дать только женщина, чей собственный брачный опыт составил чуть больше двух лет...

Несколько раз звонила безутешная брошенка, но мать холодно отвечала, что сын не желает с ней разговаривать. Сын в это время сидел напротив и почему-то вспоминал о том, как неумело брал Невинномысск, а Лена нежно его успокаивала и стыдливо ободряла... Конечно, все еще можно было исправить... Но она вдруг перестала звонить. Больше Кокотов никогда ее не видел, даже на развод она не пришла, а адвокат представил справку, что ей по состоянию здоровья не показано присутствие на судебных заседаниях. Могла, конечно, спасти молодую семью теща, но Зинаида Автономовна отнеслась к бегству зятя, как к дезертирству с поля боя, а за это полагался расстрел. Его и расстреляли, вычеркнули из списков личного состава, вернув через солдата-вестового первые же посланные алименты. Видеться с Анастасией ему тоже категорически не разрешили...

Один раз, уже после суда, позвонил явно не из дома пьяненький Никита Иванович:

– Андрей, ты что, другую бабу завел?

– Нет! Вы о чем? – возмутился беглец, испугавшись, что они пронюхали про Лорину.

– А если и завел. Как мужик мужика я тебя понимаю. Знаешь, какая у меня в станице любовь была? Угар! Португее дымилась. Но семья – это НЗ. Понял?

– Понял.

– Повинись!

– Не могу.

– А кулаком по столу можешь ударить?

– А вы?

– Я... – растерялся полковник. – Ладно. Денег больше не присылай. Обойдемся.

И тут надо честно признаться самому себе: если бы Кокотов захотел – все можно было вернуть. Но, видимо, с самого начала в его душе обитало загнанное вглубь въедливое чувство необязательности этого брака, ощущение того, что мужская свобода может дать ему как писателю гораздо больше, чем ранняя семья.

От однокурсников, продолжавших общаться с его бывшей женой, он узнал, что она довольно долго лежала в Клинике неврозов имени Соловьева, потом скоропалительно вышла замуж за подчиненного лейтенанта Оленича. Вскоре молодожены уехали на пять лет в Забайкалье с перспективой попасть в ГДР. Кто же знал, что исчезнет ГДР, а потом Советский Союз вместе с его несокрушимой и легендарной армией. Предательство обладает такой разрушительной силой, по сравнению с которой атомное оружие – китайская петарда...

Кокотов старался избегать некрасивых воспоминаний о бывшей жене и потерянной дочери, которую, если честно, он так и не успел полюбить, а скорее теоретически осознал, что вот этот пищащий и какающий комок плоти есть его продолжение на земле. Андрей Львович весь ушел в творчество. Все чаще он стал возвращаться из литобъединения «Исток» с победной улыбкой на устах и окончательно утешился, когда завел бурный роман с немолодой начинающей поэтессой Лориной Похитоновой, которая в минуты страсти мычала нечто силлабо-тоническое. Кстати, их сближение началось чуть раньше развода. Иногда они вместе возвращались из литобъединения. Лорина была женщина заманчивая и обладала, помимо всего прочего, удивительными ягодицами – их размеры незабываемо противоречили всем разумным законам живой природы. Кокотов, наверное, женился бы, совершив тем самым эсхатологическую ошибку, но Похитонова жила в одной квартире с бывшим мужем, тоже поэтом, кажется, постепенно менявшим сексуальную ориентацию и потому спокойно относившимся к романам своей феерической супруги. Привести Лорину к маме Андрей Львович не решился. В результате у них случилось самое лучшее, что может произойти между мужчиной и женщиной, – многолетняя необременительная связь, закончившаяся сама собой, почти незаметно, как проходит хронический насморк...

Вспоминая прошлое, он задремал и увидел во сне Елену. Отгоняя мух, она жадно доела за Настей морковно-яблочное пюре, потом побледнела, схватилась за живот и упала...

## Глава 15

### Запах мужчины

В комнату без стука вошел Жарынин, саркастически осмотрел дремлющего на кровати соавтора и сурово спросил:

– Отдохнули?

– Немного, – потянулся Кокотов.

– Вам привет от девочек!

– От каких еще девочек? – удивился автор «Полыньи счастья».

– От Валентины Никифоровны и Регины Федоровны. Вальке вы даже, по-моему, понравились. Не упустите: забористая женщина!

– Я сюда не для этого приехал!

– Коллега, нам неведомо, зачем мы все пришли в этот мир. Откуда вы можете знать, для чего приехали сюда, в «Ипокренино». Но точно не для того, чтобы дрыхнуть. Не спи, не спи, художник! За работу! Пройдемте ко мне!

Странно сказать, но автор «Полыньи счастья», морально ослабленный воспоминаниями, подчинился беспрекословно. Очутившись в номере режиссера, Андрей Львович в приоткрытую дверь ванной увидел свою занавесочку с розовым нерушимым Советским Союзом, и сердце его снова заняло от обиды. В комнате все так же пахло табаком и хорошим одеколоном, а на письменном столе симметрично расположились початая бутылка перцовки и две мельхиоровые наполненные рюмочки. На блюде красовался любовно нарезанный и художественно выложенный соленый огурец, а рядом покоился вынутый из трости стилет. На тонком лезвии осталось белесое семечко.

– Ну-с, – произнес Жарынин, выверенным движением берясь за рюмку, – за Синемопу!

– За что-о?

– За Си-не-мо-пу! – по слогам повторил соавтор.

– А что это?

– Не что, а кто! Муза кинематографа.

– А разве такая есть?

– Конечно. Десятая. А вы не знали?

– Не-ет, не помню...

– А девять остальных хотя бы помните?

– Конечно.

– Называйте!

– Зачем?

– Да вы просто не знаете! – обидно засмеялся Жарынин и отпустил рюмку.

– Знаю.

– Ну тогда перечисляйте!

– Терпсихора, Мельпомена... – бодро начал Кокотов.

– Хорошо, дальше!

– Талия, Клио...

– Четыре. Отлично! Дальше?

– Урания...

– Великолепно! Пять. Еще!

– Ев... Евтерпа...

– Прекрасно! Шесть. Ну, напрягитесь!

– Э-э-э... Забыл... – ненавидя свою дырявую память, сознался Андрей Львович.

– Вы что заканчивали, я запомнил!

– Пединститут.  
– Ну что ж, для пединститута вполне прилично. Может, звонок другу?  
– Не откажусь.  
– Считайте, что вы мне уже позвонили. Запомните и передайте другим: Полигимния – муза сочинителей гимнов. Семь. Не путать с Полигамнией – музой измены. Эрато – муза лирической поэзии. Восемь. Вы же писали в юности стихи?

– Писал.  
– Должны знать. Каллиопа – муза эпоса. Девять. И, наконец, Синемопа – муза синематографа! Десять. За Синемопу!

Выпили. Хрустнули огурчиком. И Кокотов почувствовал, как в животе затеплилась надежда на то, что жизнь все-таки не напрасна. Мысли пришли в веселое движение.

– Дмитрий Антонович, а как зовут одиннадцатую музу? – спросил он, улыбаясь.  
– Одиннадцатую?  
– Да, одиннадцатую.  
– Хм... И что же это за муза?  
– Не догадываетесь?  
– Нет...  
– Звонок другу?  
– Пожалуй.  
– Это очень важная муза. Может быть, самая главная теперь.  
– Ладно, сдаюсь!  
– Те-ле-мо-па! – победно произнес Кокотов и указал пальцем на телевизор.  
– Неплохо, коллега! За Телемопу! Она нам скоро понадобится.

Выпили по второй. Потом и по третьей – уже без тоста. Доели огурчик. Жарынин вытер и убрал клинок в трость. Писатель, пережив прилив алкогольного энтузиазма, снова закручился, а режиссер, посасывая нераскуренную трубку, некоторое время как загнипнотизированный молча смотрел за окно на сияющий куполок дальней монастырской колокольни.

– А если она не погибла? – вдруг спросил он.  
– Кто?  
– Ваша Ника.  
– Нет, она разбилась. Это точно!  
– А все-таки!  
– Допустим. И что же?  
– Пока не знаю.  
– Почему же тогда она не приехала к Львову? – растерялся Андрей Львович.

– А вдруг она страшно изуродовалась в катастрофе? Даже фронтовики, потеряв на войне руку или ногу, боялись домой возвращаться. Вдруг жена не примет калеку? А тут юная девушка! Представьте, коллега: звонок в дверь. Львов открывает и видит на пороге... Господи! Нет! О нет!! – Режиссер искажил лицо и закрылся растопыренными пальцами, будто увидел кошмар.

– Да ну вас к черту! – разозлился Кокотов.

– Напрасно вы обиделись! Вот я вам сейчас случай расскажу. У нас в доме, в первом подъезде на четвертом этаже, жила молодая семейная пара, офицер-танкист и учительница. Его звали Павел, ее – Анфиса Андреевна. Учительниц всегда, знаете, по имени-отчеству величают. Анфиса была хороша! Имя, кстати, тоже отличное. Не то что ваша Ника! Молодую Мирошниченко чем-то напоминала. Помните?

– Конечно!  
– Вы, кстати, какого года?  
– Шестьдесят второго.

– Мальчишка! Я – пятьдесят пятого. Так вот, любил ее муж без памяти: вечно с цветами, тортами, духами – как жених. Знали они друг друга еще со школы, встретились на городской олимпиаде по математике. Так вот, день знакомства, двадцать пятое января, был у них самый главный праздник. В этот день Павел всегда тащил жене такой огромный букет, что еле в лифт с ним помещался. Сын у них рос, Миша, – отличник. Офицерам в ту пору, при Грачеве, тяжело жилось – зарплата копеечная, да и ту месяцами не выдавали. Но Павел смысленный оказался мужик и вот что придумал: он в своих танковых мастерских иномарки ремонтировал и неплохо зарабатывал. У меня тогда «Тойота» была, и разбил я ее вдрезг. Так он мне тачку как новенькую собрал. Мастер! Сколько раз ему говорил: «Паша, бросай ты службу! Гиблое дело! Пока у нас президент-белобилетник, ничего хорошего в армии не будет. Открой автомастерскую – озолотишься!» А он мне: «Я, Дмитрий Антонович, потомственный офицер. Мой прадед Шипку брал! Все скоро переменится, Россия без хорошей армии долго не сможет!» А тут как раз война с Чечней. Его танковый батальон на Грозный бросили. Последний раз он жене позвонил под Новый год, мол, завтра возьмем город. Скоро приеду. Жди! Люблю. Береги сына! А потом пришли из военкомата, глаза прячут... В общем, погиб он во время новогоднего штурма Грозного. Тогда этот баран Грачев танки без прикрытия на улицы загнал – их и пожгли. Павел, сказали, сгорел в броне без остатка. Мол, извините, можем дать какой-нибудь символический пепел. Дали. Похоронили черт-те где – возле Домодедова. Кладбище огромное, могилы экскаватором роют. Сунули урночку в мерзлую землю, стрельнули в небо – и разошлись. Как же Анфиса убивалась, как убивалась! Если бы не сын, может, что-нибудь с собой и сделала бы. Месяц вообще лежала не вставая. Моя супруга от нее не отходила, нянчилась с ней, как с маленькой. Потом вдруг Анфиса вскочила, глаза горят, кричит: «Не верю! Мы не его похоронили. Я чувствую!» Оставила сына соседям, помчалась в Ростов-на-Дону, там на запасных путях в вагонах-рефрижераторах неопознанные останки хранились. Что уж она там увидела – но вернулась покорная, снова стала на работу в школу ходить. В общем, успокоилась, притихла, стала жить... А через год у нас новый дворник появился. Поселился, как и прежний, умерший от пьянства, в пристроечке к котельной. Мужик был сильно пострадавший: руки обожженные, а лицо... Помните, как у Юценки рожа перед выборами изволдырилась?

– Еще бы!

– Так вот, у нового дворника куда хуже. Ни волосинки на черепе – одни струпья фиолетовые. Чистый Фредди Крюгер! Голоса тоже нет – связки сожжены. Не говорил – хрипел, не сразу и разберешь. Кое-как объяснил: с Кузбасса он, в шахте обгорел, когда метан рванул. Дворником инвалид хорошим оказался: не пил, территорию в чистоте содержал, пацанам свистульки из жести вырезал, в сантехнике неплохо разбирался, ремонтировал лучше и дешевле, чем вся эта пьянь из ДЕЗа. Сначала из-за внешнего вида его приглашать в квартиры побаивались, а потом привыкли: руки хоть и страшные, обгоревшие, а золотые. Была у него, правда, одна особенность: как свободная минутка выдастся, сядет на скамейку возле своей каморки и смотрит на дверь первого подъезда. Смотрит, смотрит, смотрит...

А с Анфисой Андреевной стало тем временем происходить что-то странное: однажды она вошла в лифт и чуть не упала в обморок, потому что уловила отчетливый запах своего погибшего мужа. Потом вдруг двадцать пятого января нашла на пороге огромный букет цветов. Ну, с ней истерика! Мы стали успокаивать, мол, это кто-то из однополчан покойного решил сюрприз сделать – все ведь знали, как Павел ее любил. Но с ней все-таки нервный срыв случился: боялась из дому выйти, везде ей запах покойного мужа чудился... Посоветовались мы по-соседски и нашли хорошего психотерапевта, видного мужчину лет сорока. Стал он к ней ходить: гипноз, анализ страхов, угнетенная женская чувственность, сознание-подсознание, либидо-подлибидо, разговоры о потаенном детстве и все такое прочее... Сперва он с ней, как положено, ровно час занимался, минута в минуту. Потом стал задерживаться, чаевничать. Затем с пакетами мага-

зинными начал появляться – она ведь вообще из дому не выходила от страха. А там глядим: уже и Мишку из школы за руку ведет. Раньше-то пацана мы по очереди забирали...

А дворник сидел на своей лавочке и внимательно на все это смотрел. Один раз у психотерапевта машина не завелась. Он и так и сяк – мертвая. Обгорелый подошел, заглянул под капот, проводок какой-то поправил – затарахтела. Но от денег отказался. Ну, надо ли говорить, что настал однажды день, когда психотерапевт так и не вышел от своей пациентки, ночевать остался. Инвалид сидел всю ночь на лавочке и курил. Я как раз из Дома кино с премьеры возвращался за полночь.

– Не спится? – спросил.

– Не спится... – прохрипел он.

– О чем думаешь?

– О справедливости.

– Лучше не думать о том, чего в жизни не бывает! – посоветовал я и ушел.

Утром дворник исчез, оставив возле лавочки страшное количество окурков – точно гильзы, отстрелянные у пулемета после жуткого боя. А в дверь Анфисиной квартиры была воткнута записка: «Будь счастлива! Павел».

Почерк она тут же узнала, бросилась к консьержке – мол, кто заходил, а та отвечает: никого чужого не видела, только дворник появлялся, сказал, у вас прокладку в ванной выбило. Тут-то Анфиса все и поняла, метнулась в милицию, военкомат, ФСБ... Стали разбираться и выяснили: действительно, из Моздокского госпиталя как раз в то самое время, когда появился у нас новый дворник, выписался один прапорщик, уроженец Кузбасса, очень сильно обожженный, но до родного городка так и не добрался. Впрочем, был он бессемейный, и никто на это внимания не обратил. Стали опрашивать друзей и выяснили, что у прапорщика уж очень веселая татуировка на груди имела, ни с чем не спутаешь: голая девушка верхом на крупнокалиберном снаряде. Тут Анфиса и вспомнила, как в Ростове-на-Дону видела труп именно с такой наколкой. В общем, догадались: обожженный инвалид – это Павел. Он, похоже, решил утаиться от любимой жены, начать новую, искалеченную жизнь с чужими документами, да потянуло домой...

– А чем же все кончилось? – тихо спросил Кокотов.

– А чем все кончается? Анфиса сначала не могла себе этого простить, выгнала психоаналитика, ждала, что муж вернется, что он где-то рядом затаился, ходила по округе и расклеивала, точно объявления об обмене, бумажки, написанные от руки Мишкой: «Папа, вернись! Мы тебя с мамой очень любим!» Надеялась, муж руку сына узнает, расчувствуется и простит.

– Вернулся?

– Нет. Исчез. А вскоре я прочел в «Коммивояжере» заметку, что на загородном шоссе, по которому ездил на службу и обратно Грачев, нашли тело мужчины, подорвавшегося при попытке установить мину на пути следования министра обороны. Тело неудачливого террориста, особенно лицо и руки, имело следы страшных, но уже заживших ожогов...

– Вы сказали об этом Анфисе?

– Нет, конечно. Она до сих пор надеется. Ну, за русского офицера!

Они молча выпили.

– Пошли ужинать! – строго распорядился Жарынин.

## Глава 16

### Пан Казимир и его сыновья

По пути к пище соавторы встретили доктора Владимира Борисовича, настолько подавленного, что даже его казацки усы поникли. На осторожный вопрос про обстановку над Понырями он безнадежно махнул рукой и ушел скорбной поступью пораженца.

Проходя мимо стола, за которым сидела Ласунская, соавторы задержались. Великая актриса, одетая в бархатное платье вишневого цвета и розовый тюрбан, величественно ела. Перед ней на китайской тарелочке лежал аккуратно нарезанный на кусочки шоколадный батончик с беловатой начинкой.

– Марципаны любит страстно, до безумия! С детства. Ради этой миндальной дряни готова буквально на все! Генерал Батюков, ее любовник, истребитель гонял в Берлин за свежими марципанами! – успел нашептать Жарынин, дожидаясь, пока Вера Витольдовна наконец их заметит.

Дождавшись внимания, режиссер и писатель раскланялись и представились, в ответ она, приветливо поморщившись, едва кивнула. Однако ее неудовольствие было адресовано не им, а скандальным ветеранам за соседним столиком. Два старичка громко и непримиримо спорили об останках Ильича.

– Заберите из мавзолея эти исторические консервы! – басил крупный бородатый дед в бежевой вельветовой куртке с замшевыми заплатами на локтях.

– Это не консервы, а материалистические мощи, рожденные мощью человеческого разума! – отвечал сухонький лысый старик, одетый в ветхий концертный пиджак.

– Объяснитесь, милостивый государь! С каких это пор мумия стала мощами?

– Вы все равно не поймете. Ленин – пророк позитивизма. Он лежит там, где ему положено, в храме безбожия, и не смейте трогать его! Он принадлежит истории.

Отвечая на изумленный взгляд Кокотова, Жарынин тихо объяснил, что за вождя мирового пролетариата заступает известный виолончелист Бренч, погубленный интригами Ростроповича, а выноса тела требует герой «бульдозерной выставки» живописец Чернов-Квадратов.

Болтянский, увидав соавторов, от нетерпеливой радости даже выскочил из-за стола и призывно замахал руками, как измученный пленник необитаемого острова. Он явно боялся, что долгожданные соседи по столу увлекутся спором о позитивистских мощах и забудут о нем – скучающем в одиночестве.

– Ну что же вы опаздываете?! Садитесь скорее! Капустки? – щедро предложил он.

– Не откажусь! – отозвался режиссер, критически осматривая рыбную закуску.

На тарелке были выложены в ряд три шпротинки малькового возраста. Изогнувшихся в копченой муке рыбешек окаймляло несколько фигурно рассыпанных консервированных горошин. Это блокадное изобилие дополнялось долькой бледного помидора, явно страдающего овощным малокровием.

– И давно вас так кормят? – поинтересовался Жарынин.

– Давно, – вздохнул Болтянский.

– Жаловались?

– Писали Огуревичу коллективный протест.

– А он?

– Сказал, что все средства идут на борьбу с Ибрагимбыковым! – Лилипутское личико старика сморщилось в мудрую улыбку.

– Ладно. Поговорим! – сурово пообещал заступник.

Тем временем Татьяна привезла горячее – сосиски с тушеной капустой. Сосиски тоже оказались какими-то укороченными.

– Так на чем я остановился? – спросил Болтянский.

– Да вы ведь все нам уже рассказали! – удивился Жарынин и незаметно подмигнул Кокотову.

– Разве... А... ну, тогда ладно...

– Нет, еще не все! – объявил Андрей Львович, словно не поняв предупредительного знака. – Вы остановились на том, как ваш батюшка призвал к себе сыновей...

Режиссер молча загрузил, а Ян Казимирович с наслаждением завел свою родовую сагу:

– Верно! Призвал и сказал: «Сыны мои, пришла революция! Ничего доброго это нам не сулит. Революцию начинают от хорошей жизни и заканчивают от плохой. Прольются моря крови, погибнут миллионы, но наш род должен уцелеть. Любой ценой. Мудрецы не советуют держать все яйца в одной корзине. Посему ты, Бронислав, езжай в Варшаву к генералу Пилсудскому. Будь поляком, как славные наши дяды! Служи ему верой и правдой и отомсти проклятым москалям за все разделы Польши, но особенно за Третий. Когда все уляжется, женись! Но варшавянку или краковянку не бери – намучаешься с их гонором. Подыщи себе скромную девушку из местечка поближе к Беларуси. А теперь не мешкай, возьми пенендзы на дорогу и мою шляхетскую грамоту, они в шкапу, под отрезом сукна, – и в путь! Обними же, старший сын, меня на прощание! Мы больше никогда не увидимся!» Бронислав крепко обнял отца, вытер слезы и вышел вон... Отец от слабости тут же потерял сознание. Мать зарыдала, думала: преставился... Но нет: поднесли к лицу зеркальце, и оно слегка запотело...

– И что, добрался Бронислав до Пилсудского?

– Не торопитесь! Всему свое время. А сейчас, пока батюшка без сознания, вы, мои молодые друзья, можете поесть!

– Спасибо! – желчно поблагодарил Жарынин и попытался поддеть вилок шпротинку, но она проскользнула между зубьями.

– Тут отец очнулся, – продолжил Ян Казимирович. – «Мечислав, – позвал он слабым голосом. – Ты будешь русским! Езжай на Дон к генералу Корнилову, храбро бейся за единую и неделимую Россию, мсти всем, кто разваливал великую нашу империю, но особенно полякам, евреям и латышам. Не лютуй, но и спуску не давай: поляков расстреливай, остальных вешай! Если Белое дело победит, женись на дочке смоленского помещика из уезда, поближе к Беларуси. После Гражданской войны мужчин останется мало, а ты – офицер, спаситель Отечества. Выберешь кого захочешь! Не мешкай, возьми в шкапу, под сукном, пенендзы на дорогу и бумаги, подтверждающие, что ты сын служилого российского дворянина. Обними мать – и в путь! Чем раньше доберешься до Корнилова, тем ближе будешь к нему. Держись при штабе. Штабные первыми получают награды и первыми эвакуируются...» Сказав это, отец снова потерял сознание...

– Мудрый у вас был батюшка... – покачал головой режиссер.

– Вы даже не представляете, какой мудрый! Кушайте, кушайте!

Едва соавторы принялись за сосиски альтернативного, как выразились бы на толерантном Западе, размера, как сын пана Казимира снова очнулся и продолжил:

– Станислав!

– Я здесь, отец!

– Ты, Стась, будешь интернационалистом! Езжай срочно в Питер, к Троцкому! Преданно служи делу революции, а в графе «национальность» всегда пиши «коммунист»...

– Я ж поляк! – вскипел мой брат.

– Ты пиши! – повторил с усилием батюшка. – Господь потом своих отсортирует. Если будет возможность, поступай на службу в ЧК – там власть, кровь, а значит, и деньги. Экспроприация, сынок, это всего лишь перекладывание денег из одного кармана в другой. Карай

усердно, но без жестокости. Жестокие увлекаются и гибнут. Когда борьба утихнет, женись на дочке непьющего пролетария или еврейке из белорусского местечка. Понял? А теперь возьми в шкаф под сукном пенендзы на дорогу и справку о том, что твой дед был сослан в Сибирь за восстание против царя. Другого рекомендательного письма Троцкому и не надо! Обними мать – и в путь!»

– И ваш батюшка снова потерял сознание? – ехидно спросил Жарынин, явно изнывавший от рассказа, который слышал не в первый раз.

– А вот и нет! Отец, чувствуя приближение конца, собрал последние силы... – вполне серьезно начал Болтянский и осекся. – Дмитрий Антонович, зачем вы спрашиваете? Неинтересно – не слушайте...

– Я только не могу понять, какое это имеет отношение к вашему серебру? – режиссер кивнул на дорожный набор в сафьяновом складне.

– Самое прямое отношение! Наберитесь терпения! А если вам скучно, зачем вы мешаете Андрею Львовичу? Андрей Львович, вам ведь интересно?

– Безумно! Я ощущаю живое дыхание Клио – музыки истории! – сказал Кокотов, исподтишка глянув на соавтора.

Тот покорился, снова занявшись укороченными сосисками, а вдохновленный старик продолжил сагу:

– «Янек! – позвал меня отец слабым голосом. – Подойди, сынок! Ты самый младший, и ты никуда не поедешь, оставайся с маткой, береги ее, помогай и жди!» – «Чего ждать?» – воскликнул я. – «Жди своего часа! Тебе сейчас без малого восемь. Думаю, вся эта неразбериха закончится лет через десять. Придет новый царь, и наступит покой. Ты присоединишься к победителям. Кто это будет, не знаю. Сам разберешься. Учись и востри ум, младший сын! Вот, возьми мой нательный крест...» Отец попытался снять с шеи шнурок с крошечным серебряным Распятием, и это усилие стоило ему жизни. Мать, рыдая, упала на грудь покойного, а я...

– А ты, пся крев, стал думать, как вместе с евреями извести Русскую державу и ее незлобивый народ!

Это был Жуков-Хаит. К своей льняной косоворотке он добавил еще кожаный ремешок, обхватывавший голову и делавший его похожим на мастерового, как их рисуют в школьных учебниках. Сев за стол, он заорал:

– Татьяна! Жрать вези!

– А нельзя ли потише?! – строго спросил Жарынин, хотя Ян Казимирович умолял его глазами не вступать в опасные словопрения.

– Что, не нравится? – ухмыльнулся Жуков-Хаит.

– Да, мне очень не нравится, когда орут! – угрожающе подтвердил режиссер.

– Ясное дело, привыкли по лолам шептаться!

– По каким лолам? – не понял Кокотов.

– По масонским, по каким же еще!

– Ну где вы здесь масонов видели, голубчик! – мягко возразил старый фельетонист.

– Где-е! А это что-о?! – он ткнул корявым желтым ногтем в сторону «Пылесоса».

Некоторое время все четверо молча разглядывали лукавый глаз, заключенный в треугольник.

– Но ведь это же просто аллегория! – примирительно молвил Болтянский. – Возьмите капустки!

– Не хочу! С аллегорий все и начинается! – объявил тот с погромной усмешкой, и его глаза стали наливаться страшной болотной чернотой. – Гуаноиды без аллегорий не могут.

– Кто-о?

– Гуаноиды – это те, кто в жизни только дерьмо ищет. Ваш Гузкин, например...

– Выбирайте выражения! – возмущенно вставил Кокотов.

– Это он еще выбирает... – успокоил Жарынин.

Чем бы закончился весь этот застольный конфликт – неизвестно, но к ним, переваливаясь по-утиному, приблизилась Евгения Ивановна.

– Дмитрий Антонович, – сказала она, глядя на Аннабель Ли с тихим восторгом обладательницы тайны. – Аркадий Петрович просил вас к нему заглянуть!

– Как срочно?

– Прямо сейчас.

– Ну что ж, мы уже поели. Пойдемте, коллега!

Соавторы резко и одновременно встали из-за стола.

Боком, чтобы не терять из виду противника (как это делают в фильмах не нашедшие консенсуса мафиози), они проследовали к выходу, посылая успокаивающие улыбки ветеранам, испуганным назревавшим скандалом. Болтынский, стремглав перенес тарелку с сосисками и морскую капусту за столик, где сидел Ящик, принялся взволнованно делиться воспоминаниями о пережитом. Лишившийся супостатов, Жуков-Хаит сразу сник, размяк, и на лице его возникло выражение послезапойной безысходности.

– Татьяна, ну где ты? Кушать хочу... – жалобно позвал он.

В оранжерейном переходе в плетеном кресле неподвижно сидела Ласунская, перебравшаяся сюда после ужина, и безотрывно глядела на цветущий кактус, который, наверное, напоминал ей прожитую жизнь. Черепаха Тортилла наполовину вылезла из лягушатника и, вытянув из панциря старушечью головку, неотрывно смотрела на великую актрису своими раскосыми черными глазами. Заметив приближение соавторов, рептилия тут же спряталась. Режиссер и писатель, почтительно поклонившись Вере Витольдовне, двинулись дальше.

– Вы обещали мне рассказать о Жукове-Хаите, – напомнил Кокотов.

– Это грустная история. Какая-то еще не изученная специалистами нравственная мутация...

– Мутация? Очень интересно! А почему он так взъелся на Гришу Гузкина?

– Сейчас не время, потом расскажу.

– Ну да, так же, как про Пат Сэлэндж!

– Расскажу, расскажу и про Жукова-Хаита, и про Пат Сэлэндж. А Гриша Гузкин – и в самом деле гуаноид. Неплохое словечко! Надо запомнить. Я этого жука хорошо знаю. Сначала он доил советскую власть как холмогорскую корову, а теперь всему Западу жалуется, что при коммунистах голодал. Вы хоть знаете, сколько Гришка получил за этот «Пылесос», сиречь «Симфонию созидания»?

– Сколько?

– Тысяч десять. В восьмидесятом году!

– Это ж кооперативная квартира! – вспотел писатель, когда-то серьезно травмированный жилищным вопросом.

– Или! А сколько он таких «пылесосов» по всей стране налудил! Я-то знаю. Я же эту монументалку и втюхивал честным людям.

– В каком смысле?

– В прямом. Когда я смыл позор и меня выпустили...

– Откуда? – насторожился опасливый Кокотов.

– Не важно. Выпустили. Семью надо было кормить, и я пошел работать в Художественный фонд разъездным, так сказать, искусствоведом. Заберешься, бывало, в забытую богом Куролешу, пойдешь в местный клуб на разведку, а заодно – кино посмотреть и с аборигенкой познакомиться. Ах, какие женщины попадают в русской глубинке – так бы и остался с ней навсегда в стогу. Но семья, коллега, семья... Словом, заходишь в клуб, а там уже на стене розово-голубая фреска с плечистой нордической девой, которая одной мускулистой рукой,

каких и у штангистов не бывает, отодвигает в сторону батарею ракетных установок, а другой выпускает в небо голубя мира, похожего на жирного рождественского гуся.

– Эх, – думаю, – опередили. Ну, ничего, в Тьфуславле повезет. И везло! О великий и могучий соцкультбыт! Нынче это слово подзабыли, а при Советской власти ни один даже малейший руководитель не мог спать спокойно, пока не догадается, куда бы засунуть проклятую безналичку, определенную исключительно на культуру и досуг. Сидит, скажем, директор крупного совхоза и горюет: новый рояль взамен порубленного комбайнером, приревновавшим жену к руководителю музыкального кружка, купил? Купил. Лучших доярок в Константиново к Есенину свозил? Свозил. Новых книжек в библиотеку полгрузовика привез? Привез. А вон еще одиннадцать тысяч пятьсот двадцать семь рубликов восемнадцать копеек на балансе болтаются – тоже, суки, в культуру просятся! Вот купить бы на них новую сеялку – а ить нельзя: финансовая дисциплина – посадят... Остается взять с областной базы восемнадцать баянов «Волна» и ксилофон «Апрель» с палочками – как раз в сумму. Но ведь их, сволочей, потом списывать замучаешься! Проще всего, конечно, махнуть рукой: мол, хрен с ними – остались деньги и остались! Пропадайте! Да ведь власть-то – она мстительная: на будущий год ровно на эти одиннадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей восемнадцать копеек соцкультбыт совхозу и срежут. Обидно!

И тут, как нарочно, открывается дверь и на пороге появляюсь я – в кожаной куртке, ботинках на толстой подошве и в кепке цвета, какого в Тьфуславле сроду не видывали. С сочувствием глянув на измаявшегося руководителя, я тут же, с порога, предлагаю ему подписать договор с МОСХом на создание панно «Утро на пашне». Стоимость художественных работ с расходным материалом – одиннадцать тысяч пятьсот рублей.

Деньги нужно перечислить в течение двух недель. Директор от свалившегося счастья теряет дар речи. Я же тем временем интимно подсаживаюсь к нему, снимаю с горлышка пожелтевшего графина стакан, задумчиво рассматриваю запывлившееся донышко и спрашиваю:

– Может, у вас есть особые условия? – Тонкий намек на то, что в девяностые стало называться «откатом».

– Нет. Согласен! – мотает головой счастливый начальник.

– Это хорошо. А вы знаете, что граненый стакан изобрела Вера Мухина?

– Какая Мухина?

– Рабочего и колхозницу возле ВДНХ знаете?

– Зна-аем, как же... В Москве два раза был.

– Вот она-то и придумала это орудие мужской солидарности!

– Колхозница?

– Мухина.

– По-онял! – улыбается во весь свой железный рот директор и посылает долговязую секретаршу за водкой. Вот как это, друг мой, делалось. А они: «Тоталитаризм!» Гуаноиды! Какой же это, к черту, тоталитаризм? Но что-то я разговорился. Давайте-ка дуйте срочно к Огуревичу!

– А вы?

– Я приду попозже. У меня есть дела.

– Какие?

– Личные.

– Без вас я не пойду! – закапризничал Кокотов.

– Идите! Не волнуйтесь, первое отделение будет развлекательное, почти цирк. Я это уже много раз видел и слышал. А вам на новенького, думаю, понравится. Давайте-давайте! – подтолкнул Жарынин. – А к серьезному разговору я как раз и подтянусь.

## Глава 17

### В торсионных полях

В приемной директора было пусто: секретарша ушла, убрав все со стола. На чистой поверхности лежал лишь одинокий листок бумаги с записью: «1. Утром соединить с судом». А сбоку был пририсован милый цветочек с лепестками, похожими на капли слез. Два лепестка-слезинки оторвались и упали.

Кокотов постучал в директорскую дверь, долго ждал отклика, потом все-таки вошел и огляделся: просторный кабинет располагался, кажется, в бывшей хозяйской спальне, обшитой дубовыми панелями. Во всяком случае, ниша, где на львиных лапах стоял старинный письменный стол, чрезвычайно напоминала альков. Над столом висела большая фотография, изображавшая Огуревича в обществе президента России, что-то вручавшего Аркадию Петровичу. Андрей Львович повидал немало таких вот парадных снимков и давно заметил одну странную особенность: наградовручитель всегда почему-то выглядит немного смущенным, а наградополучатель, напротив, гордым и значительным. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

Кокотов продолжил осмотр. Стена над камином была сплошь увешана заключенными в рамочки дипломами и грамотами. Размещенные в хронологической последовательности, они наглядно показывали, как колосистый советский герб сменился двуглавым орлом. Тот поначалу выглядел мило, по-цыплячьи добродушно, но потом – от диплома к диплому – приобретал все более суровые черты могучей имперской птицы. Противоположная стена скрывалась за книжными полками с сочинениями Блаватской, Штайнера, Брезант, всевозможных Рерихов и бесконечной «Эзотерической энциклопедией». Сбоку расположился большой фотографический портрет Блаватской, удивительно похожей на Крупскую, уже захворавшую базедовой болезнью. Кроме того, повсюду, где только можно, висели торопливые тибетские пейзажи, сработанные под Рериха-старшего. Наверное, именно такие и писал бы в больших количествах сам великий шамбалавед, если бы копил после развода деньги на квартиру для новой семьи и торговал своим живописным продуктом на Крымской набережной.

Посредине кабинета, на журнальном столике, все было приготовлено к приему гостей: большой зеленый фарфоровый чайник, украшенный раскосым ликом акына Джамбула и надписью «Первый съезд советских писателей», чашки, выпущенные к 25-летию Союза кинематографистов, рюмки с вензелем ресторана Дома архитектора. Закуска же оказалась вегетарианской: мед, пророщенные злаки, орехи и сухофрукты. Зато бутылка хорошего коньяка обилием медалей напоминала героя тыла, собравшегося на встречу со школьниками. Кокотов ощутил во рту унизительный вкус общепитовского ужина, не удержался, цапнул янтарную лепешечку кураги и отправил в рот.

Именно в этот момент открылась замаскированная портьерой боковая дверь, и оттуда, мученически улыбаясь, появился Огуревич. Писатель испуганно проглотил недожеванный сухофрукт и ответно осклабился. Аркадий Петрович подошел и подарил ему свое засасывающее рукопожатие.

– Спасибо, что заглянули! А где Дмитрий Антонович?

– Попозже подойдет.

– А-а... Ну конечно... – со скорбным пониманием кивнул директор. – Я знаю, он не верит. Напрасно.

– Во что не верит? – осторожно уточнил Кокотов.

– В генетически запрограммированный трансморфизм человечества, – с глубокой обидой объявил Огуревич. – Ведь каждый человек сам для себя решает, остаться ему мыслящей бабочкой-однодневкой или стать субъектом Вечности! И мне сердечно жаль, что такой выдающийся человек, как Дмитрий Антонович... Жаль...

Наблюдательный писатель отметил про себя, что вкрадчивый, психотерапевтический голос директора совершенно не соответствует его мускулистым, как у саксофониста, щекам.

– Жаль, очень жаль!.. – повторил Огуревич.

– Жаль... – как эхо отозвался Андрей Львович, не понимая, почему, собственно, он должен жалеть своего соавтора.

– А вы-то верите?

– Конечно, хотя, впрочем... – не тотчас отозвался Кокотов, соображая, о чем идет речь.

– Я не осуждаю вашу неуверенность. Нет! Это естественно. Наш мозг приучен к линейному восприятию бытия, мы не берем в расчет энергоинформационную структуру мироздания. Другими словами – биополе. И напрасно, напрасно – ведь потенциально наш мозг способен декодировать квантово-волновые голограммы прошлого, настоящего и будущего, хранящиеся в торсионных полях. Понимаете?

– Еще бы! – важно кивнул писатель, где-то читавший про торсионные поля. – Но ведь это только гипотеза...

– Вселенная тоже только гипотеза, – горько усмехнулся Огуревич. – Хомо сапиенс исчерпал свои возможности как биологический вид и пребывает в кризисе. Однако на каждом витке планетарной истории включаются некие заложенные Высшим Разумом механизмы, и происходит расконсервация той части генетического кода, которая отвечает за трансморфизм рода людского. Совсем скоро, Андрей Львович, вы не узнаете человечество! Да-да! Не узнаете! Пойдемте, я вам кое- что покажу! – Директор поманил его к той двери, откуда только что вышел сам. – Загляните в щелку!

– А удобно?

– Удобно!

Кокотов заглянул. За дверью располагалась большая комната, даже зала, которая, судя по шведской стенке, предназначалась прежде для лечебной физкультуры. Теперь к перекладинам были прикреплены большие листы ватмана со схемами, нарисованными цветными маркерами. Одна из схем выглядела чуть понятнее других: в верхней правой части листа виднелся силуэт мозга с надписью «Высший Разум», а в левом нижнем углу прозябала жалкая неказистая фигурка – «Современный человек». От него к Высшему Разуму вверх вели пять ступеней, образованных словами, а именно:

5. Слияние
4. Самопреображение
3. Саморегенерация
2. Самобиокомпьютеризация
1. Саморегулирование

Но гораздо интереснее сухих схем оказались люди, обитавшие в зале. Прежде всех в глаза бросалась рослая, плечистая женщина с тяжелым лицом. Она совершала растопыренными пальцами пассы над старухой, дремлющей в кресле. Движения рук напоминали те, с помощью которых утрамбовывают тесто, поднимающееся из кастрюли.

– Моя жена, Зинаида Афанасьевна, – нежным шепотом пояснил Огуревич. – А в кресле, – добавил он суше, – моя теща, Ольга Платоновна. А вон, вон – взгляните-ка туда!

Кокотов взглянул: там за шахматами сидели два подростка. Ничего особенного, если бы на глазах у них не было плотных черных повязок, наподобие тех, что раздают на дальних авиарейсах пассажирам для безмятежного сна. Один из мальчиков как раз поднял руку с фигурой и задумался, куда бы ее поместить.

– Мой сын Прохор! – гордо разъяснил Огуревич. – И племянник Эдик.

В этот миг Прохор уверенным движением определил фигуру на доску. А незрячий Эдуард, обнаружив угрозу своему королю, мгновенно рокировался.

– Как же это они так... вслепую? – засомневался Кокотов.

– А как летучие мыши в полной темноте мошек ловят?

– Так то же мыши!

– Но разве человек хуже мышки? – загадочно улыбнулся директор. – А теперь поглядите вон туда!

Кокотов поглядел: в дальнем углу, у мольберта, стояли две рыженькие девушки, очень похожие друг на друга и различавшиеся только ростом да еще количеством прыщей на лице. Этим они напоминали двух подружек из телевизионной рекламы целебного мыла «Скин-френд». Та, что была повыше и явно уже воспользовалась антипрыщевой панацеей, хаотично рыскала по холсту длинной кистью, изображая что-то бордово-сизое. Ее глаза закрывала такая же повязка, как и у мальчиков. Вторая девушка, не открывшая еще для себя чудодейственное мыло, держала первую за свободную руку, а сама при этом вглядывалась в большой художественный альбом, раскрытый на странице с чем-то нефигуративным.

– Дочки мои, Ксения и Корнелия, – с тихой теплотой пояснил Огуревич. – Копируют Поллока. Отрабатывают тактильный канал передачи художественных мыслеобразов.

– Потрясающе! – совершенно искренне выдохнул Кокотов.

– Ну, не будем им мешать! – Аркадий Петрович закрыл дверь и, взяв писателя под локоток, отвел к столу. – Им надо готовиться...

– К чему?

– К взыскующим. У нас тут в «Ипокренине» работает школа «Путь к Сверхразуму». Набираем в Москве группу, привозим сюда, размещаем в свободных номерах. Все они, – Огуревич кивнул на дверь, – инструкторы: за неделю превращают обывателя в сверхчеловека... Честное слово! Скоро заедет новая партия – сами увидите!

– Дорого, наверное? – поинтересовался Кокотов.

– Да уж не дороже, чем уродовать себя в салонах красоты! Многие не понимают. А кто понимает, думает, будто трансморфизм произойдет сам собой. Нет! Нужны усилия. Нужна методика. Нужен образец. А где ж его взять? – спросите вы... Коньячку?

– Немного. Нам еще работать.

– А брать его нужно там же, где и все остальное! В Священном Писании. – Директор налил только Кокотову.

– Спасибо, достаточно... – кивнул Андрей Львович. – В Ветхом или Новом Завете?

– Лучше, конечно, в Новом. Зададим себе, к примеру, простой вопрос: а зачем приходил Христос на землю? Обличать саддукеев и фарисеев? Мелко! Смешно! Что такое саддукеи и фарисеи в масштабах Бесконечности? Тьфу! Ничто! Нет, не затем Он приходил! А зачем? Не догадываетесь?!

– Смертию смерть поправить... – предположительно ляпнул Кокотов и застеснялся.

– Да, конечно. Но это для профанов. Мы же, посвященные, знаем: Он был послан Отцом, сиречь Высшим Разумом, чтобы показать людям образец того, какими они должны стать в будущем. Помните, Он исцелял людей?

– Конечно!

– А чем занимается Зинаида Афанасьевна?

– Чем?

– Она с помощью своего сконцентрированного биополя ликвидирует у тещи склеротические бляшки. Результаты блестящие. Скоро, скоро Ольга Платоновна от нас уедет... – В глазах директора возникла грустная надежда. – Кстати, моя жена изумительно выгоняет энергетических глистов.

– Кого? – обалдел автор «Полюны счастья».

– Не слышали? Ну как же! Это враждебные человеческому организму энергетические сущности. Очень вредные. Вам дадим скидку.

– Да я вроде не жалуясь...

– Жаловаться начинают, когда уже поздно! – наставительно заметил Огуревич. – Вообще возможности наших методик безграничны. Я сам, например, по вечерам усилием воли дроблю Зинаиде Афанасьевне камни в желчном пузыре. Человеческие способности удивительны! Вот посмотрите! – Он наклонил голову, словно хотел дружески боднуть Кокотова. – Видите?

– Что?

– Волосы.

– Вижу...

На розовой лысине можно было, приглядевшись, различить легкие признаки оволосения, будто весенний ветерок скупно обронил на нее тополиный пух.

– А ведь еще полгода назад там ничего не было! – доложил Аркадий Петрович. – Ни-че-го!! И вот пожалуйста: исключительно с помощью концентрации воли. А есть и вообще удивительные вещи. Регенерация. Это полный переворот в медицине! Пенсионерка из прошлой партии усилием воли восстановила себе девственность.

– Зачем? – оторопел писатель.

– Зачем! Типичный вопрос непробужденного, – горько усмехнулся директор. – Хорошо, взглянем на проблему практически. Я, например, отрастил себе новый желчный пузырь, удаленный десять лет назад, когда я злоупотреблял вот этим. – Он с грустью указал на рюмку. – К сожалению, не могу вам предъявить его, как новые волосы. Но вы мне уж поверьте! Академики ультразвуком трижды проверяли и сертификат мне выдали! Вон он, на стенке висит! Принести?

– Не надо... – замахал руками Кокотов. – Но ведь это ж сенсация! Переворот! Об этом надо кричать на каждом углу! В мире миллионы людей без желчного пузыря!

– Вот поэтому-то и не кричат, – скорбно качнул головой Огуревич. – Если эти миллионы отрастят себе по нашей методике желчный пузырь, что же тогда будет? Куда фармакологические монстры денут свои таблетки, микстуры и прочие гадости? Они делают все для того, чтобы никто не узнал. Идут на чудовищные провокации. Представляете, трижды ультразвук подтверждал наличие вот тут, – он ткнул пальцем себе под ребра, – нового желчного пузыря. А на четвертый, в присутствии телекамер, – не подтвердил. Вы понимаете?

– Понимаю...

– И они, монстры, тоже понимают, что это только начало. Со временем человек научится выращивать себе новую печень, почки, утраченную конечность. Мозг, наконец! И где окажутся производители протезов и торговцы донорскими органами? На свалке мировой экономики. А от регенерации рукой подать и до практического бессмертия, до воскрешения мертвых. Лазаря помните?

– Которого?

– Которого Иисус воскресил.

– Разумеется.

– Следовательно, за фармакологическими монстрами на свалку экономики последует и похоронный бизнес. Хоронить-то будет некого! Ха-ха-ха! А сколько стоит место на кладбище? Мы тут одного народного художника пытались на Новодевичьем пристроить. Знаете, сколько запросили? «Лексус» дешевле купить. Вы хоть представляете себе мировые обороты заправил ритуальных услуг вкуче с ценой кладбищенской земли?

– Смутно.

– Триллионы. Я вообще удивляюсь, что меня до сих пор не убили! Давайте выпьем!

– Давайте! – Писатель долгожданным движением взялся за холодный стебель рюмки. – А вы?

– Я? – Огуревич загадочно усмехнулся. – Вы, конечно, знаете, что в микроскопических дозах любой здоровый организм вырабатывает алкоголь?

– Разве?

– Вообразите! До оледенения, когда люди ели исключительно растительную пищу – фрукты, овощи и злаки, этот механизм работал исправно. И человечество было постоянно слегка подшофе, как после фужера хорошего шампанского. Именно эти беззаботные времена в нашем коллективном мифологическом сознании остались в виде воспоминаний об Эдеме, райской жизни. А потом земля покрылась льдом, и люди стали есть мясо. – Директор содрогнулся, а Кокотов вспомнил почему-то укороченные сосиски. – Вот тогда-то механизм и разладился. Люди перестали вырабатывать в себе алкоголь. Но я... мы... с помощью особых методик научились управлять этим химическим процессом в организме. Так что пятьдесят граммов коньячку я себе и воздам! Пейте!

Андрей Львович опрокинул рюмку и почувствовал, как внутри распускается теплый цветок алкогольной радости. Директор же замер взором, засопел, набряк, краснея, и вдруг блаженно расслабился:

– Ну вот. Порядок. Пошла по жилкам чарочка. Жаль, что эта радость скоро человечеству не понадобится!

– Почему? – огорчился автор «Полюны счастья».

– Священное Писание надо читать, господин писатель! Христос ведь четко объяснил, что будет с нами дальше! Но люди не поняли, не захотели понять, что со временем наше биологическое тело перейдет в корпускулярно-волновое качество. Что такое аура, вы, конечно, знаете?

– Обижаете!

– Так вот, предельно упрощая физическую сторону процесса, скажу вам прямо: все наше тело станет аурой, а сам человек станет светом. Именно это и хотел объяснить Сын Божий своим ученикам, преобразившись на горе Фавор. Помните: «одежды его сделались блистающими, как снег»? Не поняли ученики. Тогда Он пошел на крайность, чтобы достучаться до глупых людей, одолеваемых похотью, самонадеянностью и жадностью. Он воскрес после смерти. Но как воскрес? Как воскрес! Вспыхнул, оставив на саване свой негатив.

– Это вы о Туринской плащанице? – лениво уточнил Андрей Львович, гордясь осведомленностью.

– Разумеется. А что такое воскресение, как не переход биологического тела в корпускулярно-волновое качество? В свет. Знаете, – вдруг как-то интимно-мечтательно произнес Огуревич, – когда люди станут лучами света, любовь будет... как вспышка... как молния... Представляете?

– Не очень...

– Да, наше будущее трудно вообразить! Но оно уже рядом. А вы что, знакомы с Натальей Павловной?

– Н-нет...

– Но мне показалось... – Аркадий Петрович напряг свои мускулистые щеки и пытливо посмотрел Кокотову в глаза.

– Нет, не знаком.

– Как вы себя чувствуете?

– А что?

– Да выглядите что-то неважно!

– Вы полагаете?

– А вот мы сейчас про вас все узнаем. Минуточку! – Огуревич нахмурился и уставился на дверь, замаскированную портьерами.

Буквально через минуту в кабинете появился сын директора с черной повязкой на лице, при этом шел он вполне уверенно.

– Папа, у нас эндшпиль! – укоризненно произнес мальчик, приближаясь к столику.

– Прости, сын! Я на минутку отвлек. Прошенька, посмотри, пожалуйста, Андрея Львовича!

– Общее сканирование или на клеточном уровне?

– Общее, конечно, общее, сынок!

Проخور выставил вперед руки и начал производить такие движения, словно его ладони скользили по стеклянному саркофагу, в который было заключено обследуемое тело. При этом мальчик хмурил не закрытый повязкой лобик и тихо приговаривал:

– Тэк-с, тэк-с, тэк-с...

Это продолжалось минуты две. Наконец подросток взмахнул кистями, будто стряхивая с них мыльную пену, тяжело вздохнул, вытер пот и констатировал, ткнув пальцем последовательно в лицо, грудь и живот писателя:

– Там, там и там, но хуже всего – там... – мальчик показал на голову. – Ну и, конечно, энергетические глисты. – Юный экстрасенс печально улыбнулся.

– Ага, что я говорил! Спасибо, Проша, ступай! – похвалил Огуревич.

– А что – «там, там и там»? – уточнил Кокотов, мнительно щупая уплотнение в носу.

– Для конкретной диагностики вас надо сканировать на клеточном уровне. А это уже совсем другие энергетические и прочие затраты. Ступай, сынок, ступай!

Мальчик пожал плечами, повернулся и, не снимая повязки, вышел из кабинета походкой вполне зрячего, но утомленного человека.

– Вот видите! – посочувствовал Аркадий Петрович. – Вам надо собой срочно заняться! Проша недавно у нашего Жемчужина-Чавелова диагностировал тромб. Еле довезли. Сейчас снова поет...

Распахнулась дверь. Вошел Жарынин, бодрый и подтянутый, как школьный физрук.

– Ну, – строго спросил он, присаживаясь к столу, – как вы тут? В корпускулярно-волновое состояние еще не перешли?

– Как видите, – отозвался Огуревич, задетый насмешливым тоном.

– Тогда есть мотив выпить! – Дмитрий Антонович кивнул на коньяк.

Директор покорно налил Жарынину и Кокотову по полной.

– А ты как всегда?

– Угу...

– Тогда с Новым годом!

– В каком смысле? – удивился Андрей Львович.

– Сегодня – Энкутаташ.

– Что-о?

– Одиннадцатое сентября – эфиопский Новый год.

Соавторы чокнулись, а торсионный полевод снова набряк и обмяк.

К алкогольному цветку, уже начавшему увядать в организме Кокотова, добавились новые, свежие бутоны.

– Да, кстати, коллега, – обратился Жарынин к соавтору. – У вас, конечно, обнаружились энергетические глисты?

– К сожалению... – кивнул безутешный писатель.

– Я так и думал, – покачал головой режиссер и повернулся к Огуревичу. – Ну, хомо люциферус, рассказывай, как ты докатился до этого! Что происходит в «Ипокренине»? Только честно и без разных там ваших блаватских штучек! – Он грозно кивнул на базедовый портрет. – Иначе помощи от меня не жди!

Аркадий Петрович вздохнул, расслабил щеки, и его лицо стало скорбно-эпическим.

## Глава 18

### Насельники куш

Рассказ Огуревича был долог, многословен, витиеват и туманен. Несколько раз он, отклоняясь от темы, пытался уплутать в мутные проблемы трансморфизма, объяснял, что и лучевая форма жизни – не окончательная фаза эволюции, что в далеком будущем вполне возможно превращение человека в чистую мысль... Но Жарынин каждый раз жестко возвращал его к реальности, которая оказалась грустна и темна, как брачная ночь пенсионеров. Из всего того, что Кокотов сумел понять, складывалась вот такая странная картина.

Оказывается, чтобы попасть на жительство в «Ипокренино», пожилому деятелю нужно было обладать, во-первых, как минимум званием «Заслуженный работник культуры» (сокращенно – «Засрак»), а во-вторых – собственной жилплощадью. Только безвозмездно отдав ее, ветеран мог получить однокомнатное пристанище в ДВК, пансион, медицинское обслуживание и, наконец, гарантированное погребение в случае смерти. В советские времена в сданные стариками квартиры тут же въезжали очередные деятели культуры, страдавшие жилищной недостаточностью, а творческие союзы взамен перечисляли в «Ипокренино» деньги, необходимые для содержания ветеранов. Но когда в Отечестве завелся капитализм, ситуация изменилась. Теперь квартиры передавались в специальный фонд «Сострадание», который их выгодно продавал, а средства под хорошие проценты помещал в банки. Последние пятнадцать лет несменяемым президентом «Сострадания» был Гелий Захарович Медеянский – создатель незабвенного Змеюрика. Таким образом удавалось все эти непростые годы окормлять ветеранов и содержать ипокренинское хозяйство.

– Вы знаете, сколько теперь стоит электричество? – трагически спросил Огуревич.

– Догадываемся! – сурово отвечивал Жарынин и ехидно интересовался: – А сколько стоит курс в вашей школе Сверхума?

– Знание – бесценно... – вздыхал директор.

Впрочем, с самого начала, еще при Советской власти, возникло одно деликатное преткновение. Так уж исторически сложилось, что при коммунистах видным деятелям культуры жилье давали очень приличное. Считалось, заслуженный артист или, скажем, крупный архитектор, не говоря уже о знаменитом писателе, меряя в художественной задумчивости квартиру шагами, не должен ощущать стеснения своим замыслом.

Так вот, еще тогда выдающиеся старички довольно быстро сообразили, что отдавать почти даром роскошные площади весьма неразумно. Ведь согласно подлой социалистической уравниловке, независимо от того, отдал ты хоромы или каморку в коммуналке, тебе выделяли в ДВК все ту же комнатку гостиничного типа и все тот же однообразный уютский стол. И тогда, борясь с несправедливостью, многие ветераны перед тем, как заселиться в «Ипокренино», стали злонамеренно хитрить. Одни менялись с детьми или родственниками, нарочно ухудшали свои жилищные условия и сдавали в распоряжение творческих союзов жалкие «хрущобы». Другие, бессемейные и жестокосердые, злонамеренно переезжали в совершеннейшие халупы, а полученную денежную компенсацию клали на сберкнижку. Ну, Господь-то их разом и наказал за хитромудрие в девяносто первом, когда за сто рублей давали стакан газировки без сиропа...

С наступлением новых времен мало что изменилось: элитные деятели культуры норovali перед вселением в ДВК загнать квартиры риелторам, денежки по-скорому засунуть в коммерческий банк, вложить в валюту, «мавродики» или «чемадурики», а фонду «Сострадание» впарить какую-нибудь убитую квартирешку в промзоне, купленную по дешевке. Напрасно Медеянский взывал к совести, создавал следственные комиссии, отказывал дряхлым ловкачам в приюте. Ну как, в самом деле, откажешь трижды лауреату Государственной премии?

Зато сколько потом было инфарктов и инсультов, когда скороспелые банки лопались, точно воздушные шарики, прижатые сигаретой финансового беспредела. А крушение «МММ» и «Плютей-лимитед» вообще смертоносной косой прошло по ветеранским рядам. Секция колумбария, специально отведенная для заслуженного праха насельников ипокренинских куш, заполнилась буквально в считанные дни. Пришлось срочно покупать дополнительные ячейки. Уцелевшие вклады сожрал дефолт девяносто восьмого, устроенный молодым плешивым очкариком, прозванным в народе Киндер-сюрпризом.

Лишь немногие, и прежде всего Ласунская, честно и благородно сдали в фонд свою подлинную жилплощадь. Сама Вера Витольдовна, не дрогнув, отписала «Состраданию» пятикомнатные хоромы на Тверской, выходящие окнами прямо на памятник Юрию Долгорукому. В квартире поначалу обещали создать музей-квартиру, но в конечном счете там поселился продюсер Тенгиз Малакия, прославившийся тем, что создал и раскрутил группу «Голубой бой», объединявшую четверку способных, но безнадежно испорченных юношей. Узнав про это, Ласунская равнодушно пожалала печами и заметила: «Мне всегда не нравились люди, пытающиеся проникнуть в искусство с заднего хода!»

– Небожительница! – с оттенком благоговейного недоумения вздохнул Аркадий Петрович.

– Святая! – не сразу подтвердил Жарынин: видимо, прикидывал в уме, сколько стоят такие апартаменты и сколько от этой гигантской суммы отломили себе Огуревич с Медеянским.

Поначалу денег, поступавших из фонда «Сострадание», худо-бедно хватало. Потом все стремительно подорожало: аренда земли, электричество, газ, бензин... Теплицу, бодрившую ветеранов свежими овощными витаминами, пришлось забросить. Как память о тех временах остался только Агдамыч – последний русский крестьянин. Подорожали хлеб и сопутствующие продукты, и если раньше того, что оставляли на столах престарелыцы, хватало на откормку дюжины кабанчиков, то теперь угасающие светила отечественной культуры подъедали все крошки, не давая никаких шансов даже мышам, не говоря уж о свиньях. Грызуны, поколебавшись, эмигрировали в элитный дачный поселок «Трансгаза». Его в течение года выстроили неподалеку от ДВК, на знаменитом просторе, который когда-то то ли Раневская, то ли Бабанова, то ли обе одновременно называли «Небежиным лугом»...

Ветераны с ипокренинского холма каждый вечер наблюдали, как в строго охраняемый поселок после трудового дня возвращается вереница ослепительных иномарок. А председатель совета директоров «Трансгаза» некто Паша Химич, некоторое время назад выгнанный из Принстона за кражу в спортивной раздевалке и тут же взятый Гайдаром в правительство молодых реформаторов, приезжал на дачу под охраной БМП, усиленного отделением мотострелков. Мало того, его сопровождал на бреющем полете боевой вертолет с ракетами типа «воздух – земля». И было невозможно объяснить старикам, этим зажившимся на свете осколкам старого мира, почему общенародный газ вдруг ни с того ни с сего стал собственностью Паши Химича. Комсомольский поэт Верлен Бездынько разразился по этому поводу эпиграммой:

*Давайте сознаемся сразу:  
Россия такая страна,  
Где можно при помощи газа  
И муху раздуть до слона!*

А вскоре, замученный безденежьем, забастовал обслуживающий персонал «Ипокренина», к нему тут же присоединились и медики – все они требовали повышения заработной платы. Напрасно Огуревич взывал к совести и припоминал им клятву Гиппократу. Они отвечали, что даром никто никогда не работал, даже Гиппократ с Авиценной.

– Я им говорил, стыдил: как вы можете наживать на беспомощной старости?! – с болью произнес директор, и его мускулистые щеки при этом печально опали. – Э-эх!

– У вас-то у самого какая зарплата? – уточнил Жарынин.

Огуревич лишь улыбнулся с той воспитанной беспомощностью, какая появляется на интеллигентных лицах, когда речь заходит о чем-то, недостойном внимания культурного человека. Вместо ответа он снова налил соавторам коньяка, а сам приложил пальцы к вискам и напряжился, багровея... Выпили. Каждый по-своему. Кокотов с удивлением отметил, что Аркадий Петрович захмелел: речь его стала сбивчива, движения хаотичны, в интонациях появился опереточный трагизм.

Жалование сотрудникам пришлось поднять, и это легло тяжким бременем на ипокренинский бюджет. Но самым страшным ударом по экономике ДВК стал, как это ни странно, резкий рост цен на жилплощадь. Теперь, продав квартиру в центре Москвы, заслуженные долгожители не спешили в «Ипокренино», они могли устроиться в пансион где-нибудь в уютной Чехии или до конца жизни круизить по морям и океанам, пересаживаясь с лайнера на лайнер. И в конце концов умереть, скажем, на цветущем Гоа, в теплом бассейне с морской водой, лениво дожидаясь, пока эбонитовая официантка в бикини подгонит к тебе плавучий подносик с коктейлем «Танец леопарда». Иные вдовы старички, вдруг разбогатев, немедленно женились на молодых дамах и, написав завещание, вскоре погибали в требовательных объятиях.

Приток постояльцев резко сократился. Во-первых, как было сказано, желающих сдать квартиру в фонд «Сострадание» и поселиться в ДВК становилось все меньше, а во-вторых, смерть посещала этот дом все чаще. Дирекция экономила на лекарствах, покупая их оптом у каких-то невнятных фирм. Одна из них, «Фармозон», вскоре была разоблачена, и оказалось, что все препараты она изготавливает из толченого мела, закатанного в цветную глазурь. Руководил фирмой некто Игорь Тюленев, служивший прежде санитаром в морге. Врачи из опаски вообще перестали выдавать населникам препараты, а все больше рекомендовали пить воду из знаменитого ипокренинского источника. Эта простая методика серьезно снизила смертность и оздоровила пожилое сообщество.

И все же суровая реальность дома престарелых была такова, что ветеран, еще за ужином сыпавший анекдотами времен Утесова, к обеду следующего дня мог уже загадочно смотреть на живых с фотографии, приклеенной к ватману, который на стареньком мольберте выставлялся у входа в столовую. Под снимком тщательным плакатным шрифтом Чернов-Квадратов (с тех пор, как из экономии уволили штатного оформителя) выводил окончательные даты, перечисляя под ними заслуги, звания, награды и должности покойного. Затем Регина Федоровна и Валентина Никифоровна, тяжело вздохнув, выписывали деньги на погребение и помин души. А это значило, что на ужин перед каждым обитателем дома ветеранов появится порция алкоголя: мужчинам – рюмка дешевой водки, а дамам – полбокала белого вина, кислого, как аскорбинка.

В результате всех этих печальных обстоятельств в «Ипокренине» оказалось немало свободных комнат, и предприимчивый Огуревич стал сдавать помещения под временные творческие мастерские (именно так здесь оказались наши соавторы), поселять в них изгнанных из семьи мастеров, чей род занятий невозможен без вдохновляющей супружеской измены. Находили тут приют и прочие бездомные, но кредитоспособные персонажи вроде Жукова-Хайта. Да что там Федор Абрамович! Комнаты порой предоставлялись на ночь или даже на час под скоротечные сексуальные процедуры. Ходили упорные слухи, будто однажды в «Ипокренине» переночевали чеченские боевики, направлявшиеся в столицу для совершения террористического злодеяния. Кто-то из ветеранов, вспомнив старые добрые тридцатые годы, тиснул, конечно же, восточку в органы. Приезжали, разбирались и выяснили: то были отнюдь не «злые чечены», а добрые ингуши, возившие в Москву паленый спирт, от которого наутро в голове вместо мозгов образовывалось что-то вроде застывшей монтажной пены. После этого скандала Огуревич в своих коммерческих порывах уже не шел дальше сдачи номеров фирмам средней руки под

выездные вечеринки, заканчивавшиеся обычно испражнениями в гроте, пьяными купаниями в прудах и буйным корпоративным сексом. А еще завел он школу Сверхразума.

– Никогда не думал, что доживу до такого позора! – всхлипнул Аркадий Петрович.

– Девчонки-то хоть хорошие залетают? – поинтересовался Жарынин.

– А-а-а! – махнул рукой директор и с испугом покосился на дверь, за которой в это время творилось чудо грядущего трансморфизма.

– А Наталья Павловна тут откуда? – Писатель задал вопрос, томившийся в его сердце, как пойманный соловей в боковом кармане.

– Она с мужем разводится... – еле слышно ответил директор, продолжая с тревогой смотреть на дверь.

– В кредит, наверное, живет? – усмехнулся Дмитрий Антонович.

– Ну не надо, не надо об этом! – с ужасом отмахнулся Огуревич.

– Ну тогда расскажите, как вы разорили «Ипокренино»! – посуровел режиссер.

– Это не я...

...В общем, средств на содержание «Ипокренина» все равно не хватало, и было решено изъять деньги из фонда «Сострадание» и вложить в «чемадурики».

– Что-о?! – взревел Жарынин. – Вы... Как же вы могли?!

– Ну, это уж... знаете... совсем! – молвил с укором Кокотов, сам потерявший на «чемадуриках» весь гонорар за роман «Кентавр желаний».

– Да что там я, – залепетал, оправдываясь, Огуревич. – Такие люди попали! Такие люди!

– А как же Медеянский это допустил? – продолжил допрос Жарынин.

– Он... он... имел свой интерес...

– Какой?

– Юридические услуги стоят дорого, – опустил глаза долу Аркадий Петрович.

– Ах, вот оно в чем дело!

– Но Медеянский мне твердо обещал...

– Лучше уж молчите, лохнесское вы чудовище!

– Почему лохнесское? – оторопел Огуревич.

– От слова «лох». Рассказывайте!

## Глава 19

### Гриб олений – для всех поколений

Дабы Аркадий Петрович не выглядел в глазах читателей окончательным простофилей и лохом, надо объясниться. Чемадунов был выдающимся прохиндеем, выстроившим если не самую высокую, то самую оригинальную финансовую пирамиду за всю недолгую историю свободной России. По профессии логопед, начал он с того, что разместил в журнале «Будь здоров!» оплаченную статью об открытии века. Называлась она «Панацея под ногами». Оказалось, ученые обнаружили наконец универсальное лекарство почти от всех болезней, включая сахарный диабет, псориаз, молочницу, ипохондрию, простатит, люмбаго, церебральный паралич, аноргазмию, импотенцию, холецистит и даже синдром приобретенного иммунодефицита человека. А вырабатывался чудо-препарат из обыкновенного гриба, называющегося олений плютей. Кто любит бродить по лесу, наверное, не раз замечал на гнилом валежнике довольно большие грибы с темно-коричневыми шляпками, но вряд ли брал их в лукошко, принимая за поганки. И напрасно! Олений плютей не только вполне употребим в пищу, напоминая по вкусу бурый гигрофор, а по питательности – энтолому садовую, но и, как уже сказано, обладает редкими целебными свойствами.

Правда, на производство одной ампулы препарата «Плютвитал» уходит до двух килограммов грибов, поэтому, чтобы наладить выпуск лекарства, надо было прежде всего создать сырьевую базу. Проведя агрессивную рекламную кампанию под слоганом «ГРИБ ОЛЕНИЙ – ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!», Чемадунов объявил, что на открытых им заготовительных пунктах специальные уполномоченные будут принимать грибное сырье по цене двадцать долларов за килограмм. Народ, разумеется, ринулся в леса. Но не тут-то было! Плютей даже в лучшие, дождливые годы встречается не часто, и чтобы собрать два-три килограмма, нужно исходить километры лесов и перелесков. Кроме того, не все разбираются в грибах – и на приемные пункты поволокли корзины с сыроежками, рядовками, опятами, зонтиками, свинушками, мухоморами и даже, страшно вымолвить, бледными поганками... Придирчивые эксперты выбирали лучшее и выплачивали собирателям скудное вознаграждение, никак не соответствовавшее понесенным физическим и материальным затратам (тот же билет на электричку). Про водочку, выкушанную для согрева и поискового вдохновения, даже и говорить не приходится. Народ, разочаровавшись, начал сурово охладевать к целительному проекту. Но хитрый Чемадунов, как Ленин в Октябре, выбросил новый слоган:

**К СЧАСТЬЮ ПУТЬ ПРОСТ – ВОЗЬМИ ГРИБЫ В РОСТ!**

Оказывается, пока люди слонялись по лесам, специалисты научились разводить мицелий плютея оленьего в особых древесно-торфяных брикетах. На пунктах приема стали предлагать всем желающим за 10 у. е. пакет с заветной грибницей, из которой при надлежащем поливе даже в условиях городской квартиры произрастал как раз один килограмм целебного сырья. Для верности, чтобы никто не усомнился, вместо товарного чека выдавался особый номерной сертификат, похожий на большую дореволюционную банкноту. На лицевой стороне стояли номинал – 20 у. е. и трепетный пятнистый олень с ветвистыми рогами, а на обратной красовался портрет самого Бориса Чемадунова, составленный на манер художника Арчимбольдо из разнообразнейших видов грибов. Кроме того, на сертификате в особой рамочке подтверждались обязательства фирмы «ПлютвитаЛимитед» принять у предъявителя сей ценной бумаги выращенный продукт по указанной цене, а также напоминалось, что вегетативный период составляет два месяца и что в присутствии мицелия нельзя ни в коем случае курить! Потребление табачных изделий в стране тут же упало в два раза, что косвенно доказывает широчайший размах плютеемании, охватившей Россию. Впоследствии выяснилось, что таким иезу-

итско-византийским способом Чемадунов отомстил отечественным табакоторговцам, некогда беспощадно поглотившим его первый бизнес – уютный магазинчик «Сигарный рай», что на углу проспекта Мира и Садового кольца.

Народ, окрестивший заветные сертификаты «чемадуриками», озверел от счастья, ведь, как известно, нет такой глупости, которую не совершит человек за прибыль в сто процентов. Фуры не успевали подвозить брикеты, запечатанные в полиэтилен. Квартиры, избы и даже коттеджи превратились, как бы это поточнее выразиться, в импровизированные «гриборастильни».

Вот тут-то Огуревич и попался. Имея в «Ипокренине» тепличные сооружения, в последние годы пустовавшие, он забрал деньги из банка и закупил гриб-пакеты в стратегических количествах, потратив на это значительную часть стариковских средств. Агдамыч с утра до вечера поливал из шланга многоярусные и многометровые ряды бесценных брикетов. Обитатели ДВК, посвященные в затею предприимчивого директора, каждое утро после завтрака ходили смотреть, не проклюнулись ли первые коричневые шляпки, и строили хрустальные замки грядущего превращения «Ипокренина» в VIP-богачельню. Однако пока мицелии напитывались влагой и микроэлементами, чтобы выбросить полноценные плодовые тела, события повернулись самым неожиданным образом. Как это часто случается на рынке ценных бумаг, «чемадурики» из обычных гарантийных квитанций буквально за несколько недель превратились сначала вроде как в акции, а потом в самостоятельное платежное средство, кое-где даже потеснив не только рубли, но проклятую заокеанскую зелень. И это понятно: в депрессивных регионах страны с денежными знаками вообще было скудно, и на «чемадурики» стали попросту отовариваться в магазинах, расплачиваться ими за услуги. Кроме того, рыночная стоимость сертификатов оторвалась от заявленного номинала и быстро росла, что объяснялось вполне объективными причинами. Во-первых, публикации в журнале «Будь здоров!» продолжали множить число недугов, исцеляемых «Плютивиталом», сюда уже вошли: подагра, бесплодие, грыжа, рецидивирующий герпес, туберкулез, язва (как желудочная, так и сибирская), артрит, артроз, геморрой, шанкр (как твердый, так и мягкий), красная волчанка, целлюлит, болезни Паркинсона и Боткина, склероз... Во-вторых, был разрекламирован и разыгран первый тираж лотереи «Чудо-гриб»: среди счастливиц, выигравших «золотую тонну» заветной грибницы, оказались продюсер Малакия и его знаменитая группа «Голубой boy», которая тут же запела:

*Плютей, плютей, плютей,  
Гриб, гриб, гриб!  
Спаси, спаси, людей!  
Чтоб мир наш не погиб!*

Тут уж народ фактически обезумел, и начался ураганный рост котировок. «Чемадурики» скупали друг у друга и перепродавали по баснословным ценам. Типография «Красный пролетарий» не успевала печатать тонны сертификатов. Во все концы России катили фуры, груженные теперь уже не брикетами с мицелиями, а свежими пачками «чемадуриков». Началось ажиотажное снятие средств со счетов в Сбербанке. Опустились заводы и закрылись конторы, труженики ушли в бессрочные отпуска, чтобы без помех перепродавать друг другу заветные бумажки с пятнистым оленем и гриболиким Чемадуновым. Это было, конечно, гораздо выгоднее, чем вкалывать у станка или сидеть в офисе. Даже про гриб-пакеты многие подзабыли, перестав их поливать, но процесс плодоношения пошел. В новостных программах, подстегивая ажиотаж, каждый день появлялись сюжеты про счастливиц, которые, вложив в грибной бизнес тысячу рублей, через месяц покупали автомобиль...

Сообщество экономических экспертов разделилось на два враждующих лагеря. Первые, «натуралы», утверждали, что спекуляция «чемадуриками» губительна, что только выращивание и сбыт натурального грибного продукта, превращение России в мирового производителя оленьего плютея поможет нам выйти из системного кризиса и догнать экономически развитые страны. Вторые, «талонники», уверяли, что в спекуляции «чемадуриками» нет ничего дурного, что активизация рынка ценных бумаг неизбежно повлечет за собой и оздоровление реальной экономики. При этом они постоянно ссылались на блестящий опыт Соединенных Штатов, давно уже ничего не производящих, кроме «цветных» революций и долларовых купюр.

И тут Огуревич совершил вторую роковую ошибку: на все оставшиеся казенные деньги он купил «чемадуриков». Возле столовой на мольберте вместо некрологов стали вывешивать ежедневные котировки. Старческая общественность, идя на завтрак, прикидывала в уме, насколько за ночь выросло их совместное благосостояние. Впрочем, Аркадий Петрович решил не хранить золотые яйца в одной корзине. Вняв доводам «натуралов», директор пристально следил за тем, чтобы Агдамыч исправно поливал гриб-пакеты, томившиеся в теплицах. На них к тому времени проклюнулись глянцевые коричневые шишечки. Конечно, в любой момент можно было отвезти «чемадурики» в центральный офис «Плютвитааллимитед», расположенный на Волхонке, в здании бывшей Высшей школы марксизма-ленинизма, и, получив реальные деньги, вернуть их в банк – под хороший процент. Огуревич непременно собирался это сделать, тем более что ангел благоразумия, сидящий у каждого нормального человека на правом плече, по утрам сурово говорил директору:

– Аркадий, пора бы уж! Прибыль составила четыреста восемьдесят пять процентов! Хватит!

Кстати, то же самое говорила ему по утрам и супруга Зинаида Афанасьевна – в недалеком прошлом милиционер, – чующая аферистов за версту:

– Аркадий! Ты – идиот? Это жульничество не может длиться вечно! Тебя осудят!

Но бес наживы, сидящий у любого нормального человека на левом плече, каждое утро шептал в директорское ухо:

– Петрович, не будь козлом! Еще денек! А? Растут ведь, собаки!

Между тем держава стремительно катилась к национальной катастрофе: заводы стояли, сейфы национального банка пустели, спецслужбы занимались в основном «крышеванием» пунктов продажи «чемадуриков» и их транспортировкой. Рубежи страны оказались беззащитны, так как пограничники открыто специализировались на контрабанде фальшивых польских «чемадуриков» и поддельных китайских брикетов, из которых росли не плютеи, а маленькие и желтые грибки. Сразу после того как лимузин начальника Генштаба был замечен у заднего подъезда центрального офиса «Плютвитааллимитед», заснят на пленку и показан в «Вестях», солдаты и офицеры толпами покинули расположение своих частей и включились во всенародный бизнес. Парламент с той же целью в полном составе ушел на бессрочные каникулы...

Чемадуров, в течение нескольких месяцев превратившийся в самого влиятельного и богатого гражданина России, каждый день выступал по телевидению и бодрил нацию. Он предложил придать «Плютвитааллимитед» статус государственной корпорации, наподобие «Газпрома», а «чемадурики» объявить национальной валютой, что немедленно обеспечит стране желанную независимость от США, ведь рубль-то намертво привязан к доллару, а «грибной талон» совершенно независим, подобно самому плютею, растущему на той гнилушке, какая ему понравится...

И тогда взволнованный президент собрал Совет Безопасности и кабинет министров.

– Надо что-то делать! – сказал он, играя желваками.

– Надо! – согласились министры и советчики по безопасности.

– Может, ввести военное положение? – засомневался министр обороны.

– Не надо! – возразили другие министры и советчики, попросив неделю на выработку Программы национального спасения.

– Даю вам три дня! – отрезал президент и вперил в них тот особенно страшный аппаратный взгляд, от которого подчиненные цепенеют, потеют и начинают судорожно прикидывать, сколько у них заначено в западных банках и на какой из яхт лучше пожить после отставки.

Трех дней министрам и советчикам вполне хватило на то, чтобы срочно обналичить свои «чемадурики». Очевидцы рассказывали, как черные представительские лимузины подъезжали к центральному офису «Плютвиталлимитед» бесконечной чередой, и казалось, что в помещении бывшей Высшей школы марксизма-ленинизма затеян прием на самом высоком уровне. По-настоящему из правительства пострадали только вице-премьер, неосторожно улетевший посафарить в глухие джунгли, да, как обычно, министр культуры, открывавший в те дни на Огненной Земле мемориальную доску путешественнику Миклухо-Маклаю.

Через три дня все пункты «Плютвиталлимитед» были опечатаны, так как пожарная инспекция обнаружила в них огнетушители устаревшей модели. Народ заволновался, и курс слегка упал. К тому же по телевизору перестали показывать Чемадунова и всенародно известных счастливых, выигравших в грибную лотерею «золотую тонну». Наоборот, в эфире выступил знаменитый ученый, можно сказать, светило фармацевтики, вице-президент Российской академии медицинских наук Гарри Вахтангович Климактеридзе. Он объявил, что, по новейшим данным, олений плютей не только не излечивает от всех болезней, а напротив, при упорном приеме может привести к снижению потенции у мужчин и постельной холодности у женщин. Да и вообще панацеи в природе не существует, за исключением, пожалуй, старого доброго «Боржоми», бьющего из благословенных недр его родной независимой Грузии.

Едва открылись оборудованные новейшими средствами пожаротушения пункты «Плютвиталлимитед», народ ринулся менять «чемадурики» на рубли. Наличность, конечно, быстро закончилась, и курс обрушился. Тогда пункты снова закрылись, якобы до подвоза рублевой массы. Работал лишь центральный офис на Волхонке, к которому выстроилась очередь, дважды опоясывавшая храм Христа Спасителя и тянувшаяся по набережной аж до самых Котельников. Вдоль очереди дежурили милицейские наряды – стражи разнимали многочисленные драки, возникавшие в основном из-за того, что некоторые предприимчивые нахалы нагло утверждали, будто они тут уже стояли, но ненадолго отошли, а теперь вот вернулись. Сам же вход в контору напоминал врата рая в день открытых для грешников дверей... Кареты «Скорой помощи» постоянно увозили задавленных в толчее граждан, а также инфарктников, вложивших в «чемадурики» последнее.

Огуревич тоже, конечно, запаниковал, пытаясь вернуть хоть что-то. Он призвал на помощь насельников «Ипокренина», заставил их надеть все ордена, медали, лауреатские значки, сложил стремительно дешевевшие «чемадурики» в три огромные дорожные сумки и повез свою престарелую гвардию в Москву – на штурм Высшей школы марксизма-ленинизма. Однако не тут-то было: отдельная, льготная очередь из ветеранов и инвалидов, чьи услуги пользовались в те дни ажиотажным спросом и стоили очень дорого, протянулась почти до Охотного Ряда. И вот тогда кто-то догадался уговорить Ласунскую помочь общему делу. Она долго отказывалась ехать на «это торжище алчбы», но потом, разжалобленная слезами и мольбами, все-таки нехотя согласилась. Вера Витольдовна надела перламутровое платье, сшитое к спектаклю «Веер леди Уиндермер» специально для нее Ивом Сен-Лораном, в те годы еще начинающим кутюрье. И случилось чудо: один пожилой профессор медицины, живший поблизости и потому оказавшийся в самом начале очереди, узнал великую актрису, заплакал и признался, что тайно был влюблен в нее всю жизнь, со школьной скамьи, когда впервые увидел фильм «Норма жизни». Мало того, он даже жену свою Катерину в пароксизме страсти звал иногда Верой, и что удивительно – та откликалась. В общем, старичок уступил ипокренинцам свой номер в очереди за щадящее вознаграждение, каковое Огуревич ему тут же и выплатил.

Но к тому моменту, когда злосчастный директор наконец избавился от залежей «чемадуриков», аккуратно пересчитанных и перевязанных Валентиной Никифоровной и Региной Федоровной, котировка «грибных акций» упала настолько низко, что вернуть удалось едва ли четверть суммы, вложенной в это, казалось, безошибочное дело.

И то, можно сказать, повезло: буквально через несколько часов Чемадуров объявился в эфире радиостанции «Эго Москвы» и трагически сообщил, что под давлением Кремля вынужден прекратить скупку, но если его выберут президентом, он вернет все с лихвой. Не надо было ему этого говорить. Ох, не надо! В России у человека, вознамерившегося стать президентом, два пути: его сажают либо в Кремль, что маловероятно, либо – в тюрьму, что гораздо типичнее для отечественной истории. На Волхонку нагрянул спецназ, произвел выемку документов, и уже через час обнаружались такие чудовищные финансовые злоупотребления и такая недоплата налогов, в результате которой, как выразился по телевизору глава МВД, грудные дети России недополучили столько бесплатного молока, что можно было бы заполнить высохшее Аральское море. Сравнение понравилось, передавалось из уст в уста, а спичрайтера, сочинившего для министра это выступление, в тот же день пригласили на работу в Администрацию Президента.

Но арестовать самого преступника не удалось – он ушел в бега. Народ же, не внемля наветам, вывалил на улицы с требованием: «Чемадунова – в президенты!» Тогда по телевизору была показана оперативная запись: мужчина, очень похожий на владельца «Плутвиталями-тед», в чем мать родила развлекается с девушками легкого поведения в бассейне, бормоча при этом что-то невнятное – видимо, микрофон был установлен неудачно. Но и эта голая правда только прибавила ему популярности. Тогда запись показали еще раз, но уже с хорошим звуком, напоминавшим профессиональный дубляж импортного фильма. Оказалось, разговаривая с искусницами коммерческого соития, Чемадуров откровенно глумился над доверчивым русским народом, любовно перечислял своих отдаленных еврейских предков (хотя ни в каких иудейских древностях прежде замечен не был) и обещал в скором времени обогатить Россию до нитки...

А тут еще выступил действующий президент. Он объявил, что власть ни за что не бросит свой народ в трудную минуту и готова принимать выращенные россиянами грибы по пять долларов за килограмм. Кроме того, «чемадурики» ни в коем случае не надо нести на помойку, напротив, их следует бережно хранить, как некогда пресловутые советские облигации. Минует трудная година, и если не ныне живущие, то их дети смогут обменять «грибные талоны» на полновесные рубли. «Обратим поражение в победу! Будем считать, соотечественники, “чемадурики” золотым фондом будущих поколений!» – закончил выступление президент.

Народ обнадежился. Тем более что очнувшиеся грибы перли из брикетов со страшной силой. Организацию скупки плетей у населения поручили МЧС и районным отделениям правящей партии «Неделимая Россия», были изысканы огромные средства, которые тут же начали разворовываться. Приемщики вступали в преступный сговор со сдатчиками и вместо пяти долларов за кило выплачивали два. В противном случае – как обычно: «Тары нет» или «Ушла на базу». Но еще серьезнее оказалась другая проблема: скупчили, а что дальше? Куда девать такую прорву грибов? Понятно, никакой панацеи изготовить из них невозможно. Министр финансов, сам из «гарвардских мальчиков», выдвинул смелый бизнес-план: скормить грибы свиньям! Срочно вызвали министра сельского хозяйства, в прошлом юриста, и тут выяснилось, что после шоковых реформ свиней в стране почти не осталось. Через несколько дней вся Москва, другие города и веси России оказались погребены под тысячами тонн гниющего плетей. Медики предупредили о возможности эпидемии холеры. Над мегаполисом летали тучи грибных мушек, потом полезли черви... На борьбу с опасностью бросили МЧС и армейские части, едва приведенные к повиновению с помощью жилищных сертификатов...

Аркадий Петрович, который благодаря стараниям Агдамыча вырастил хороший урожай грибов, умудрился одним из первых сдать их софринскому районному отделению «Неделимой России» и вернул примерно треть от вложенного, что в той критической обстановке следует расценивать как безусловную коммерческую победу. Правда, за это ему пришлось не только самому вступить в партию, но и записать туда всех обитателей «Ипокренина», включая Агдамыча и ветеранов, умерших за последние несколько лет...

Чемадунова поймали через год: он отсиживался в погребе у своей бывшей жены, которую бросил, будучи в славе и богатстве. И она, мстя за измену в бассейне с наемными обольстительницами, кормила его раз в день – вареными плютеями без соли. В тюрьме он наконец отъелся и объявил, что на суде скажет страшную правду обо всех сильных мира сего, заработавших миллионы на его пирамиде. Понятно, до суда бедняга не дожил и был сражен на пороге Генеральной прокуратуры, куда его привезли для дачи показаний. На чердаке дома, откуда стреляли, нашли новенькую оптическую винтовку и наволочку, набитую «чемадуриками», из чего сделали единственно правильный вывод: мошенник убит из мести человеком, разорившимся на его махинациях...

## Глава 20

### Пасынок мирового разума

– Вот так и случилось... – вздохнул Огуревич. – Хотел обеспечить ветеранам безбедную старость, а вышло...

– Ладно врать-то! – усмехнулся Жарынин.

– Послушайте, – вмешался Кокотов, чтобы сгладить неловкость. – Во всем этом есть одна нестыковочка!

– Какая же? – насторожился режиссер.

– Аркадий Петрович, вы человек, вхожий, так сказать, в торсионные поля и другие высшие сферы, где наперед и назад все уже давно известно. Ведь так?

– Так, – подтвердил директор, посмотрев на писателя глазами усталого мага.

– Почему же тогда вы, прежде чем вкладывать казенные деньги в рискованное предприятие, не заглянули в ваш этот самый... как его?

– В биокомпьютер, – подсказал Огуревич.

– Вот именно. И все бы разъяснилось...

– Нельзя! – сокрушенно вздохнул он.

– Почему же? – иронически поинтересовался Жарынин.

– Видите ли, большинство людей наивно полагают, что этика – явление чисто социальное. На самом же деле этика – один из важнейших принципов мироздания. Высший разум изначально этичен. Интуитивно люди это всегда чувствовали, говоря, например: «Не в силе Бог, а в правде».

– Вы-то тут при чем? – обозлился режиссер.

– А при том! Использование для личных нужд информации, хранящейся в торсионных полях, может навсегда отрезать меня от Сверхзнания.

– Другими словами, Мировой Разум за недозволенное любопытство поставит вас в угол? – съязвил Дмитрий Антонович.

– Ну конечно! Как вы все правильно поняли! Ведь и у Адама поначалу имелся персональный биокомпьютер...

– Вкупе с внутренним спиртовым заводиком?

– Вы, Дмитрий Антонович, все пытаетесь свести к шутке, но дело ведь серьезное. Что такое «Древо познания добра и зла»? Это и есть мировое информационное пространство. А яблоко, съеденное вопреки запрету, не что иное, как информация, полученная некорректным способом... Результат вам известен?

– М-да... Результат известен, – кивнул Жарынин. – «Ипокренино» захватят, а стариков выгонят на улицу. Но если вы такой щепетильный, попросили бы Прошу. Мальчик – лицо незаинтересованное...

– Неужели вы полагаете, Дмитрий Антонович, что такими жалкими уловками можно обмануть Мировой Разум? Он не допустит!

– Почему же?

– Потому что в подобных ситуациях возможна некорректная деформация исторического тренда. Понимаете?

– Не совсем, – признался Кокотов.

– Видите ли, – с готовностью принялся разъяснять директор, – возьмем, скажем, Куликовскую битву...

– Почему именно битву и непременно Куликовскую? – насторожился режиссер.

– На примере ключевых исторических событий удобнее объяснять, что такое некорректная деформация исторического тренда...

– Ну-ну!

– Вы, разумеется, помните, с чего началась битва?

– С поединка Пересвета с Челубеем, – вспомнил автор «Кентавра желаний».

– А кто победил?

– Никто. Оба упали замертво.

– Верно, – кивнул Огуревич с видом удовлетворенного педагога. – А теперь представьте себе, что кто-то из чародеев, которых, по свидетельству очевидцев, было при ставке Мамае во множестве, заранее вышел бы в мировое информационное пространство, выяснил, куда именно ударит копьё Пересвета, и рассказал Челубею. И батыр подложил бы под кольчугу в это самое место, допустим, железную пластину. В результате татарин побеждает. Это сразу деморализует войско Дмитрия Донского. И битву, поскольку силы были примерно равны, он проигрывает вчистую. Вместо Рюриковичей на Руси воцаряются Мамаичи, ислам становится в Евразии правящей религией, и мировая история кардинально меняет свое направление. И все это из-за какой-то железки. Но ведь Мировой Разум ничего такого не допустил...

– А как же он допускает, что заслуженные старики могут остаться без крова? Это разве не деформация тренда?! – возмутился Жарынин.

– Кто знает, кто знает... – вздохнул Аркадий Петрович. – Возможно, Мировой Разум именно сейчас сгущает в социуме негативные явления, чтобы мы наконец осознали абсурдность нынешнего жизнеустройства... – Говоря это, директор наливался значительностью, а щеки его становились все мускулистее. – Я вот что вам скажу...

– Лучше скажите мне, пасынок Мирового Разума, как вы договорились с Медеянским, – грубо перебил режиссер. – Он председатель фонда и был обязан запретить вам прикасаться к стариковским деньгам! А тем более покупать «чемадурики»!

– Я его убедил.

– Медеянского? Это невозможно.

– Он проникся...

– Медеянский? Чуть!

– Ну хорошо... – Директор распустил щеки и потупился. – Часть средств я отдал ему на судебные расходы...

– Ага, значит, он судится на стариковские деньги?

– Да... Но Гелий Захарович обещал в случае победы двадцать процентов всех доходов от Змеюрника перечислять в фонд «Сострадание». А это – гигантские деньги!

– И вы поверили?

– А что мне оставалось делать? – окончательно сник Огуревич.

– Сколько он уже судится?

– Лет семь-восемь... А может, и больше.

– М-да... Прав был старый ворчун Сен-Жон Перс, когда говорил: суд – это такое место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!

– Он и в самом деле так говорил? – встрепенулся растратчик.

– Разумеется. В «Анабазисе».

– Надо будет почитать.

– Я вам привезу книжку. И когда же закончится тяжба?

– Буквально на днях. Я получил от Медеянского оптимистичный эмейл. Если он выиграет, мы спасены!

– А если не выиграет?

– Тогда вся надежда на вас...

Некоторое время сидели молча и для осмысления ситуации снова выпили – каждый по-своему.

– А кто такой Ибрагимбыков? – морщась от лимона, спросил Жарынин.

– Понимаете, мне нечем было кормить стариков... Я не знал, что делать. Сначала Кеша, внук Болтянского, обещал, что фирма «Дохман и Грохман», он там служит, арендует у нас землю за старой беседкой... Но сделка не прошла экспертизу. И тогда я попросил займы...

– У Ибрагимбыкова?

– Да...

– Откуда он взялся? Кто такой?

– Не знаю. Сам ко мне пришел. Хотел разводить в наших прудах зеркальных карпов. Мы разговорились, он тоже интересуется торсионными полями. Я был в отчаянии...

– Значит, он появился в тот момент, когда вы были в отчаянии?

– Именно.

– И вы, конечно, подумали, что его к вам на выручку прислал Мировой Разум?

– В некоторой степени... – уныло сознался Огуревич. – Но пруды ему не подошли. И тогда он предложил мне кредит...

– Подо что?

– Ах, какая разница!

– Большая.

– Под землю.

– Но ведь тут заповедник. Впрочем, «Небежин луг» вы все-таки умудрились продать. Интересно – как?

– «Трансгаз» все оформление взял на себя.

– Ну, «Трансгаз», если очень захочет, может и Красную площадь под гольф-клуб продать.

– Да... Но Ибрагимбыков гарантировал... Мне и в голову не могло прийти, что человек, разбирающийся в антропогенезе...

– Что ж эта сволочь, Мировой Разум, вам не шепнул, что Ибрагимбыков – просто бандит и с ним вообще нельзя связываться?

– Не шепнул... – мертвым голосом отозвался директор, закрыл лицо руками и набряк в одиночку.

Соавторы дождались, когда он отнимет ладони от лица, уже совершенно пьяного.

– И что теперь?

– Теперь через суд он требует признать «Ипокренино» его собственностью.

– А вы?

– А мы подали встречный иск...

– Предсудейка была?

– Была.

– Ну и что?

– Ничего хорошего.

– Прессе жаловались?

– Конечно. Верлен целую поэму сочинил.

– Ну и что?

– Не печатают бесплатно...

– В инстанции писали?

– Конечно. Даже президенту.

– Ну и что?

– Ничего. Ответили, что такие вопросы решаются через суд. У нас правовое государство.

– И когда же суд?

– Скоро.

– Точнее!

– Двадцать первого сентября.

– Не ходите. Заседание отложат. А я пока что-нибудь соображу...

- Уже два раза не ходили. Если не придем в третий – решат без нас...
  - Какие еще возможны варианты?
  - Мы советовались с Кешей, он хороший юрист. Если суд учтет социальное значение и историческую ценность нашего учреждения, он может отказать истцу...
  - Но деньги-то все равно придется вернуть!
  - Я рассчитываю на Гелия Захаровича. Он очень привязан к «Ипокренину». Его супруга здесь любит бывать...
  - Говорят, он снова женился? – встрепнулся Кокотов.
  - Да, премилая дама! Молоденькая! – По безутешному лицу директора прошла светлая судорога мужской зависти.
  - А если суд не учтет?
  - Тогда «Ипокренино» перейдет к Ибрагимбыкову.
  - А старики?
  - Их развезут по разным домам престарелых. Но вы же знаете, что это такое. Ужас! Мы не можем проиграть суд! Помогите, Дмитрий Антонович! Я знаю ваши связи, ваши возможности!
  - Двинуть бы вам, Аркадий Петрович, хорошенько в ваш биокомпьютер сначала с левой, а потом с правой, как в ВДВ учили!
  - Я понимаю... Стыжусь... Не о себе прошу!
  - Не о себе? Да если это произойдет, вам останется только в лучевое состояние перейти. Ладно, я подумаю!
  - Спасибо, спасибо!
  - Ну, по последней! – примирительно предложил Жарынин и разлил остатки коньяка в две рюмки.
- На этот раз Огуревич дольше прежнего тер виски и напруживался. А когда соавторы встали и направились к двери, он лишь вяло махнул им рукой и медленно завалился на диванчик. Со стороны могло показаться, будто гости, уходя, случайно задели ногой шнур и отключили директора от электросети.
- Некоторое время они шли молча по министерской дорожке.
- Ну и что вы будете делать? – спросил Кокотов.
  - Поднимать общественность! Прежде всего, конечно, телевидение! Телемопу, как вы удачно выразились. Надо надавить на суд общественным мнением! А там, глядишь, действительно Медеянский со своим Змеюриком подтянется. Чего не бывает! Он ведь тот еще сутяжник.
  - Это точно!

## **Глава 21**

### **Талоны счастья**

За разговором соавторы вышли на воздух – к балюстраде. На «Ипокренино» опустился сентябрьский вечер. Темный осенний ветерок охлаждал кожу, но тело изнутри согревалось медленным коньячным теплом. В небе мерцали, покачиваясь, нетрезвые звезды. На длинной фиолетово-зеленой туче прилегла луна, примятая с левого бока и похожая на желтую дыньку. Из окна жилого корпуса доносились звуки, кажется, домбры – кто-то неутомимой рукой бил по незвонким восточным струнам.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.